

ПЕРВАЯ МИНИСТЕРСКАЯ

*А. Лебедев*



ПЕРВАЯ

МИНИСТЕРСКАЯ

附



*А. Г. Лебедеико*

# **ПЕРВАЯ МИНИСТЕРСКАЯ**

*Издательство Писателей в Ленинграде*



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

В старину на самых высоких, светлых местах городов Российской империи строили церкви. В шестидесятих годах стали строить тюрьмы и остроги. Это после того, как Федор Петрович Гааз попытался усовершенствовать самодержцев всероссийских, доказывая, что не только в средневековой яме можно держать врагов царя и царского порядка.

Цари российские послушались немца-филантропа, стали строить тюрьмы на солнцепеке и на ветру, но зато число их утроили.

В девятых годах на лучших, сухих и светлых местах стали строить гимназии.

Город Горбатов подходил к Днепру тремя высокими холмами. На одном из них стояла церковь, пятиглавая, — в зеленой ограде из трех рядов персидской сирени, вишен и яблонь. На другом красовалось тяжелое кирпичное здание гимназии, и на третьем белели глухие, без окон, стены уездной тюрьмы.

По обочине тюремного холма, зеленым полукругом, шел чахлый и пыльный городской бульвар. На борту гимназического холма, подстриженный и аккуратный, кокетливо раскинулся директорский сад, безлюдный, но зато весь в клумбах и штабелях винограда. Две зеленые стены ветвями серебристых тополей, кленов и ясеней тянулись друг к другу.

Между ними, замощенная корявым булыжником,

ущельем сбегала к реке широкая улица. С вокзала на пристань и с пристани на вокзал день и ночь грохотали по мостовой нескладные грабарки, груженные лесом, мукой, кожей и гвоздями.

Внизу, у подножья трех холмов, раскинулся Старый город. Среди крепко пахнущих смоляным запахом деревянных дворов и лесопильных заводов — по углам — крошечные лавочки-бакалейки, пивнухи, чайные, бильярдные, просторные молитвенные дома, приземистые дешевые гостиницы, постоянные дворы с клочком сена на шесте, столярные мастерские, пивоварные заводы и мазаные халупы легкой постройки.

Наверху шли, распланированные под шахматную доску, улицы Нового города. Маленькие домики с деревянной крышей и мазаными стенами прятались в густых садах. А поближе к собору все чаще поднимались кирпичные особняки и доходные дома развивающегося торгового города, который на всю необъятную Россию поставлял грабарей — подрядчиков земляных работ, специализировавшихся по строительству железных дорог.

По утрам со всего Нового города шли к гимназической улице малыши со стриженными затылками, подростки с книгами подмышкой и фуражками набекрень и готовые вступить в жизнь юноши с парой книг за бортом шинели и с подпирающими шею бумажными воротничками.

Мрачное здание гимназии всех принимало в полутемные, голые коридоры и беленые классы для того, чтобы еще более буйной ватагой выпустить к трем часам на улицу.

У Костровых ходят в гимназию пятиклассник Андрей и четвероклассница Лида.

Семилетний Сергей провожает брата и сестру барабанным боем и хвастает няне, что он тоже завтра пойдет в школу. Он помогает барабану криками, топчет

ножками, но няня указывает ему на открытую в кабинет отца дверь, и он испуганно замолкает.

Член местного окружного суда, коллежский советник Мартын Федорович Костров, уже с шести утра занимается в своем кабинете. В этой обширной низкой комнате всегда темно и зелено от небольших окон, которые на три четверти закрыты тяжелыми гобеленовыми занавесями, а на четверть — близко качающимися ветвями акаций. Перо Мартына Федоровича проворно бегает по листам исписанной бумаги, а левая рука совершает регулярные движения от полных красных губ до тяжелой бронзовой пепельницы. Лицо Мартына Федоровича непроницаемо. Этому способствуют большие очки с дымчатыми, почти черными стеклами, забравший все тело в тиски вицмундир с витыми, фальшивого золота, эполетами и накладными пуговицами, на которых изображена корона и внушительное слово «закон».

У дверей, ведущих из столовой в кабинет, стоят экономка Матильда Германовна, Андрей и Лидия. Матильде Германовне нужно получить от коллежского советника пять рублей на базар, а Андрею и Лидии — по гривеннику на завтрак.

Уже без двадцати девять. Андрей нервничает. Сергей получил исподтишка по затылку и хнычет в детской. Лида хихикает вполголоса — ей ничего, ей близко, и у нее всегда есть деньги, а ведь ему, Андрею, надо итти восемь кварталов. Но Матильда Германовна ни за что не хочет войти первая.

Андрей грубо хватает экономку за рукав.  
— Идите вы, вам нужнее!

Матильда Германовна делает независимое лицо и, освободившись, отходит к буфету. Она деловито роется в тарелках и соусниках.

Андрей неслышно, но зло топает ногой. Он готов

уйти и остаться без гривенника. Он уже делает шаг от двери, но тут же вспоминает, что гривенник ему нужен вовсе не на завтрак, и возвращается.

— Иди, иди! — опять подталкивает его Матильда Германовна, и Андрея охватывает решимость отчаяния. Ведь на часах уже без четверти... На носках он входит в кабинет.

Мартын Федорович взглядывает на сына, скосив глаза, ни одним движением не меняя позы. Рука его оставляет папиросу на краю пепельницы и тянется к резной шкапулке. Пальцы вылавливают нужные монеты. Два гривенника белеют на углу стола, крытого зеленым сукном. Андрей смахивает их мальчишьям движением в ладонь. И так же на цыпочках уходит к двери и уже вихрем несется через столовую, на веранду и в сад. Гривенник Лидии летит на стол, скатывается на пол и несется широким кругом по столовой.

Сильно раскачиваясь, тяжелея, вступает теперь в кабинет и Матильда Германовна. Уже переступив порог, она мягкими пальцами стучит в дверь. Она все еще не понимает, раздражен ли сегодня коллежский советник или нет.

— Что нужно? — холодно звучит из глубины кабинета.  
— Деньги... на базар, — срывающимся, тоненьким голоском лепечет Матильда Германовна.

А в это время Андрей, разогнавшись, проскакивает калитку, звеня большой черной клямкой. Он вылетает на улицу и, подпрыгивая, шесется по тротуару.

Из окна кухни к нему летят обрывки разговора:

— Ой, господи! Оця Матильда так и лизе к барину...  
(Это кухарка Софья.)

— Вин до ней вже не ходе. (Это горничная Вера шопотом.)

Андрей даже спотыкается. «Неужели это так? Отец и толстая Матильда?!»

Но на углу перед ним маячит фигурка девушки в коричневом платье, и Андрей резко меняет походку, вышагивает широко и деловито. Обгоняя гимназистку, он отводит фуражку далеко-далеко, — так, говорят, делают в Киеве или Варшаве, — и быстро наклоняет голову.

Девушка едва заметно кивает головкой и опускает глаза.

«Кривляка! — решает Андрей. — Все девчонки — дряни!» — и поворачивает за угол.

Теперь он шагает задумчиво, и мысли его опять около отца. Как его все боятся! Никто никогда не видел, как он смеется. Его слова — это приказы. Иногда только он роняет короткие фразы. Из них Андрей усвоил, что, по мнению Мартына Федоровича, все люди — подлецы, мальчишки — будущие висельники, а жизнь — вообще так, что-то подлое. . .

Такие мысли никак не входят в сознание Андрея. Ему кажется, что так думать нельзя и говорят такие вещи не серьезно. Стоит ему самому подумать о жизни, и он сейчас же захлебывается в солнечной радости, которая поднимается у него изнутри. Небо синее, солнце золотое! Ветер несет запахи из садов. А тело такое сильное, ловкое, самое главное, что его не чувствуешь. Вот, кажется, можно было бы прыгнуть высоко-высоко. . . и полететь. . . Плохо, конечно, что кончились каникулы, но зато теперь приедут все товарищи, живущие вне города. Костя Ливанов. . . Поездки на лодке, походы в лес. А в гимназии тоже весело. . . не на уроках, конечно, а на переменах. Ах, если бы только не латынь, и не директор! — а то все было бы ничего. . . Солнце чуть-чуть меркнет, — это Андрей вспоминает, что сегодня он тоже не подготовил уроков. . . Ну и черт с ними! Все тринтрава! . . Фуражка сама сползает назад. Платком Андрей вытирает капли пота на лбу и уже вразвалку, раз-

махивая рукой, — вероятно, это здорово выглядит со стороны! — спешит к воротам гимназии.

Если тяжелая, свежeverкрашенная дверь в гимназический коридор откроется во время урока, до звонка, значит, случилось что-то особенное. Все тридцать пять низко стриженных голов повернутся, как по команде, и тридцать пять маленьких сердец забьются тревожнее и звонче.

Ведь в класс во время урока могут войти только господин директор, господин инспектор и классный наставник. Для прочих смертных вход строго запрещен. Разве приедут попечитель, генерал-губернатор или архиерей из Киева. Но эти важные гости редко посещают горбатовскую гимназию.

В гимназии все совершается по строгому ритуалу. Каждый гимназист должен знать, как нужно кланяться господину директору и господам преподавателям, как нужно держать руки, ходить, надевать фуражку и затягивать пояс.

Посредине коридора нижнего этажа, там, где убегает наверх широкая лестница серого гранита, в глубокой полутемной нише, величиною с добрую комнату, висят на стене большие часы с мелодическим звоном и аршинной палкой маятника. Под часами с раннего утра и до конца занятий стоит сторож, отставной унтер-офицер, в длинном ливрейном сюртуке. На рукавах и на воротнике его пробегает золотой позумент, начищенный, как медная кастрюля. Высоко подняв колокольчик, он начинает звонить вместе с первым ударом часов. Никогда, никогда не запоздает он и на пять секунд. Ведь господин директор проверяет свои часы по его, Якова, часам и может заметить оплошность!

Как только раздастся звонок — открываются двери, и девять буйных потоков вырываются из классных помещений в тихие коридоры. Каменное здание гимназии

покачивается от топота сотен быстрых ног и рева ломающихся голосов гимназистов-старшеклассников.

А потом опять звонок, и опять медленно текут минуты академического часа.

То один, то другой ученик пятого класса вынимает маленькие часики. К ним сейчас же тянутся с соседних парт. Владелец прикладывает часы к уху. Нет, часы тикают, но все еще пятнадцать минут до звонка! Неумолимый механизм Павла Буре или Мозера исправно работает даже в карманах гимназистов.

— Чорт! как тянется время, — шепчет Андрияша своему соседу, Ване Квятковскому. — Ей-богу, меня потянет. А я ни бум-бум, ни кукареку...

— И я такожде, — едва слышным шопотом, не поворачивая головы, роняет в ответ Ваня.

— Уже на «и» перешел, — продолжает нервно шептать Андрияша. — Он любит гнать по алфавиту... Как ты думаешь — троих успеет вызвать?..

Но именно в этот момент и открылась тяжелая классная дверь. И тридцать пять стриженных голов повернулись на ее тихое стеклянное движение. В класс вошел полный, тяжело дышащий классный наставник, Владимир Васильевич Горянский, ведя за руку подростка, одетого в штатское.

Быстрый шопот прошел по всему классу, вплоть до камчатки, где на самых высоких партах сидели второгодники.

Новичок, сопровождаемый Горянским, шел к кафедре, упершись глазами в паркет. Это был мальчик выше среднего роста, с гладкими черными волосами, мохнатыми бровями, с хорошими чертами лица, отличавшегося той выписанной красотостью, которая свойственна украинцам. На нем была надета суконная рубаша с черными костяными пуговицами, без пояса, и... брюки...

Но вот об этих-то брюках сразу и заговорил весь

класс. Помните, у Гоголя запорожские штаны, в складках которых может спрятаться Черное море? Вот такие штаны были и на новичке. Должно быть, какой-то деревенский портной-самоучка, не щадя материала и жалея время, размахнулся и скроил штанину на двуногого бегемота.

— Гу-гу! — пронеслось по классу. — Вот так штаны!

— Смотри, смотри! — толкали мальчики друг друга.

— Да, я вижу, — отвечал сосед. — Должно быть, из маминой юбки. . .

— Это дедушкины! . . . Только их малость подрезали.

— Да, это я тебе скажу, на рост в ширину.

— Вот, господа ученики пятого класса, — начал, поглаживая рыжую округленную бородку, классный наставник, — вашего полку прибыло. Прошу любить и жаловать. Василий Котельников. С сегодняшнего дня принят в нашу гимназию. Вас, Геннадий Андреевич, — обратился он к восседавшему на кафедре учителю географии, — я попрошу слегка проверить его знания, так как Котельников держал экзамены только по главным предметам. А сидеть, Котельников, вы будете здесь.

Он показал на пустующее место на второй парте третьего ряда, рядом с первым учеником, Ашаниным.

— Только потрудитесь поскорее переодеться. У вас есть дома подходящий костюм?

— Ни, нема, — краснея, ответил Котельников и еще ниже опустил голову.

— Тогда придется посидеть пока дома. В таком наряде в гимназию ходить нельзя. Как только обзаведетесь формой, приходите. Занятия начинаются ровно в девять. Молитва без четверти девять. Поняли? Кроме того я прошу вас не изъясняться в гимназии на малороссийском наречии. Не забудьте!

— Понял. . . — ответил Котельников.

Он прошел по узкому проходу между скамей и не ловко сел на низкую парту.

— Котельников, — вспомнил вдруг Геннадий Андреевич, — пожалуйте сюда к кафедре.

Но Котельников продолжал сидеть, недоумевающе осматриваясь по сторонам.

— Разве вы не слышите, Котельников? Я прошу вас пожаловать сюда. — Геннадий Андреевич указал пальцем на затертый больше других квадрат паркета перед кафедрой. — Вот сюда.

Котельников нерешительно двинулся на середину класса.

— У-у-у-у! — опять вихрем шопота пронеслось по классу.

— Ну и штанци!.. Все полы пидмитае, — запел сидевший на первой парте, в очках, с бритой головой, Тымиш. — Бо дей ему лыха годына.

— Тымиш, прошу вести себя корректно по отношению к товарищу! — грозно заметил Геннадий Андреевич, но сам не выдержал и беззвучно фыркнул, посмотрев на казацкие штаны Котельникова. — Ну, ладно! — сказал он, раздвинув плечи и погладив себя по пышным нафиксатуаренным усам. — По какому учебнику вы проходили географию?

— По Воронежскому, — быстро буркнул в ответ Котельников.

— Т-так. Ну, что ж. Скажите, пожалуйста, как называется столица Испании?

— Мадрид, — немедленно ответил Котельников.

— А на какой реке он стоит?

— На Мансанарес...

— А столица Индии?

— Калькутта...

Насчет столиц, рек, озер и высочайших вершин Котельников не подкачал.

— Неплохо, неплохо! — сказал, наконец, Геннадий Андреевич. — Ну, садитесь. Продолжайте и дальше углублять свои знания в области географии. География чрезвычайно расширяет кругозор. Вы, видимо, любите географию? . .

— Хорошо, что новичка привели, — шептал Андрей Ване Квятковскому. — Звонок скоро, наверное Яков уже колокольчик приготовил.

У самого устья улицы, сбежавшей книзу, под только что поставленным, в качестве несомненной победы цивилизации, керосино-каильным фонарем, который должен был светить на квартал во все четыре стороны, стояли Андрюша Костров и Костя Ливанов, сын гимназического священника.

— Как тебе понравился новичок? — спросил Андрей.

— А он ничего. Наши его обижать будут. Нехорошо, когда в первый день уже смеются.

— Но не виноват же он, что у него такие штаны.

— Ну, как так? Нужно все-таки думать, куда идешь. . .

— О чем вы, гидальго? — подошел к ним высокий, прямой, как жердь, гимназист, сын подполковника, Федя Рулев.

— Обо всем понемногу. . . Вот о новом. . .

— И с каких это пор к нам всяких кухаркиных детей стали присылать? — сделал презрительную гримасу Рулев. — Нет, надо в корпус уходить.

— Ну, и шел бы, кто же тебе мешает? — заявил Андрюша. — А вот и Котельников. Котельнико-ов! — затрубил он, приложив рупором руки ко рту.

Мальчик, шедший по тротуару вдоль директорского сада, остановился и направился к гимназистам

— Ты где живешь? — спросил Андрей.

— У Кричевских.

— На квартире?

— Ага.

— Послушай, как тебя?.. Котелкин! — вдруг вмешался Рулев. — Твой отец наверное кузнец?

— Нет, он крестьянин, — просто ответил Котельников. — А фамилия моя Котельников, а не Котелкин.

— Ну, Тельников, Телкин, не все ли равно? Но ты сознайся, — твой отец наверное кузнец?

— Брось, Рулев, — заметил Ливанов. — Не дразни парня.

Котельников поднял глаза на Рулева. Он только сейчас понял, что тот издевается над ним.

— Я уже тебе сказал, что мой отец крестьянин. Но дядя у меня действительно кузнец. И я у него в кузнице работал... А кузнецы гнут подковы. Вот это ты заруби себе на своем длинном носу, паничик.

Он повернулся и хотел идти.

Но взбешенный Рулев схватил его за плечо и повернул к себе:

— Ты знаешь, с кем ты говоришь? Ты знаешь, мой отец — полковник?

— Может быть твой отец очень хороший человек, но ты мне не нравишься. Пусти меня, — старался говорить спокойно Котельников. — Я не хочу с тобой разговаривать.

Рулев был выше Котельникова на полголовы. Он выпрямился во весь рост и схватил Котельникова пятерней за грудь.

— Я тебя тут же вздую, — неприятно взвизгнул он на всю площадь. Но в ту же секунду сам уже катился вниз с тротуара.

Андрей и Ливанов не успели рассмотреть, как быстро сбил с ног врага Котельников.

Весь в пыли, красный, растрепанный, поднялся Рулев. Злые слезы катились по его лицу.

— Я тебе всю морду расколочу, — шипел он, бросаясь к Котельникову. — Мужик немытый!

— Постой, постой, — удержали его Андрей и Ливанов. —

Ты сам его задел. Затеяли драку перед самой гимназией. Придете в класс, там и тузите друг друга. Пойдем, Котельников! Ты все-таки молодчага, — сказал Андрей, и они пошли втроем к центру города.

— Но как ты его здорово! Это хорошо, — он задавака и ябеда.

— Я не люблю драться, — спокойно ответил Котельников. — Я бы первый его не тронул.

— Ты, правда, в кузнице работал? — спрашивает Ливанов.

— Работал, — засмеялся Котельников и посмотрел на свои дочерна загоревшие руки. — А что?

— Ничего... Интересно... А как ты в гимназию попал?

— На стипендию. Ну, прощайте!

Эта тема явно не устраивала Котельникова...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Суббота — день особенный, легкий и волнующий. Занятия кончаются на час раньше. Ученики спешат домой обедать и, переодевшись в длинные до колен мундирчики синего сукна, с серебряными пуговицами и узким позументом по жесткому воротнику, отправляются ко всеобщей.

Гимназическая церковь, как корабль в бою, вся под перекрестными взорами начальства. Из алтаря зорко следит навьюченный золотыми ризами поп. Ризы топорчатся, твердым колоколом расходятся книзу, и поп в камилавке походит на разрисованный базарный пряник на невидимых колесах. У входа, за прилавком, похожим на конторское бюро, где продаются свечи, на толстом ковре стоит гимназический штаб — затянутые в синие вицмундиры преподаватели во главе с инспектором.

У клироса и у выхода из церкви — два педеля.

Посредине гимназической колонны, на правом фланге одного из рядов, — сам директор.

Ряды гимназистов — как войска на параде. Нельзя переступить с ноги на ногу, нельзя выдаться из ряда, нельзя двигать руками. В момент, когда возглашает священник, надо истово креститься, наклоня голову.

У стены стоят счастливицы. Здесь можно незаметно для начальства опереться о деревянную панель и смотреть с презрением на стоящих навтыяжку товарищей. Подоконники выше человеческого роста. Это чтоб моля-

щиеся не отвлекались уличным движением. В ладане, в песнопениях плывет своим особым путем гимназический церковный корабль.

Лучше всех чувствуют себя прислужники, чтецы псалтиря, свечари, певчие. В течение двух часов нудной церковной службы они передвигаются по церкви, заходят даже в алтарь. Свои несложные обязанности они проделывают с видом крайней озабоченности и с чувством глубокого превосходства над прочими, которым остается только стоять истуканами и поминутно крепить лбы.

Церковь гимназическая блестит, как надраспная палуба. Но нет в ней ни сусальных икон, ни золоченых паникадил. Узкое здание, кораблем, увенчано двускатной крышей, которая глядит внутрь резными ореховыми пластинами. Иконостас невелик — в один ярус, такого же темнокоричневого дерева, резной, почти без позолоты.

Посредине церкви пробегает синий, с вишневыми цветами, ковер. Направо от него — гимназистки, налево — гимназисты.

Стоять утомительно и скучно. Все те же песнопения, все те же, как и год и два назад, непонятные возгласы священника. Лица педагогов и надзирателей, окаймленные золотистыми и черными подстриженными бородами и стоячими воротниками, застыли в тупой неподвижности и дают мертвящей суровостью взгляда, как и лики многочисленных, писанных маслом икон.

Молятся немногие. В сущности, молиться на людях стыдно, и все ищут себе развлечения.

Вот стоит учитель русского языка, Сергей Ефимович Иволгин. Он молод, но совершенно лыс. Мясистый нос его выпирает вперед и дважды ломает линию профиля. Брови светлые, и глаза тоже. Если бы не яркосиний мундир, он показался бы безнадежно бесцветным.

Он из семинаристов, неимеющий чина, и явно колеблется между карьерными соображениями и разночинным либерализмом. Сложив руки на груди, он смотрит в высокое окно, за которым на жестяном подоконнике играют воробьи и пичужки. Старшие гимназисты убеждены, что он в это время мечтает об отсутствующей возлюбленной, элегантной классной даме — Наталье Михайловне Кузнецовой. О чем мечтают прочие педагоги, гимназистам неясно, но по отсутствующим взорам можно догадаться, что мысли их не здесь. Иногда кто-нибудь из педагогов вздрагивает, быстро мигает глазами, озирается, не заметил ли кто-нибудь сдавленного зевка, и вдруг неистово начинает креститься.

В передних рядах малыши, ростом по нижнюю пуговицу на жилетке надзирателя, передают друг другу свинью, слепленную из кусочков свечи гимназическим скульптором Вороненко. Свинья обошла уже три ряда и теперь повисла на задней пуговице нелюбимого классом ябеды Сарычева.

В средних рядах шалить рискованно — здесь слишком близко директор. Тупица и драчун Катылин считает до миллиона, — его убедили, что так скорее всего идет время. Баталов ковыряется в прыщах. Флегматичный, рыхлый, как разваренная рыба, с красными мокрыми руками, Загурняк оказался у стены. Он забылся. Глаза у него, как щели. Его правая рука в кармане. Церковь уплывает из глаз, кругами идут огоньки свечей. Но товарищеское скучающее око не покидает его. Загурняк замечает вдруг, что весь ряд смотрит только на него. Вся кровь, какая еще осталась в его развинченном теле, выливается на лицо. По рядам шопот, впереди, позади... Оборачивается сам директор. Его строгий взор останавливается на красном лице Загурняка. Худые пальцы мальчика вздрагивают на синей поле мундира. Дрожит веко. Он — как пойманный с поличным воришка.

Директор медленно и многозначительно отводит взор к алтарю. . .

Загурняка ловят всюду: на уроках, на деревянном дворе, в дальнем углу сада, в уборной. . . Он один из париев гимназии. Педагоги его наказывают. Гимназисты бичуют презрением. Гимназистки, не понимая в чем дело, считают знакомство с ним признаком дурного тона и морщатся при встрече. Вокруг него — дурно пахнувшая легенда. Никто не думает о нем, как о больном. . .

Среди старшекласников есть немало любителей стоять на фланге, у синего ковра. Это влюбленные. Они готовы всю службу простоять навтыяжку, лишь бы только видеть знакомую девушку в рядах гимназисток. Иногда несколько человек всю службу преследуют взорами одну и ту же даму сердца. Избранницы чувствуют себя неважно. Им делают замечания классные дамы. И многие из них при встрече будут просить своих рыцарей не так уж пялить на них глаза.

Более флегматичные старшекласники стремятся к задней стене, к печке. Здесь, под прикрытием рослых рядов, разговаривают шопотом, закатывают анекдоты и даже читают заложенные в рукава выпуски Шерлока Холмса и Ник Картера. Гимназический великан Цветков пользуется преимуществом своего необычайного роста. Он глядит прямо в окно на улицу и на зависть товарищам рассказывает с прибаутками обо всем, что замечает на улице и в домах напротив.

Херувимская, Достойно, Свете тихий, — все это этапы, станции на двухчасовом пути церковного стояния. Еще час, еще полчаса, еще десять минут. А потом начинается приятное.

У входа в церковь, под сенью пышно разросшихся каштанов, выстраиваются в две шеренги великовозрастные гимназисты и безусые подростки, и девушки-гимна-

зистки с длинными косами проходят сквозь этот строй, опустив глаза.

Синие фуражки гимназистов то и дело взлетают над рядами, и лица девушек рдеют под перекрестными взорами.

Великовозрастные гимназисты следуют за знакомыми девушками, но подойти к ним здесь, у церкви, не смеют. Это можно сделать только за углом, где гимназическую улицу пересекает шумная торговая улица города, и где юноши и девушки, не считаясь больше с запретом, сливаются в одну движущуюся толпу, которая и разносит пары и группы молодежи по всему городу.

Сегодня Андрей и Ливанов здесь же — в толпе. Домой идти рано — суббота. Мягкий украинский вечер китайской тушью прошелся по окнам домов, слил в недвижимые купы шапки деревьев, сделал прямые пыльные улицы уютными и наполненными теплотой.

— Андрюша, пойдем за девчатами, — предложил Ливанов.

— Володьку захватим. Стоит, неуютный, у самого выхода.

Володька Черный, высокий, грузный парень, подошел на зов, и гимназисты двинулись к главной улице.

На Дворянской сверкали большими керосиновыми «молниями» и первыми электрическими лампочками витрины магазинов, убранные с провинциальным шиком. Бутылки рядами и батареями, конфеты в раскрытых фанерных ящиках, стеклянноглазые куклы, пароходы и клоуны, пирожные и торты, колбасы всех сортов, штуки сукна и ситца, — все это глядело из окон двух- и трехэтажных домов, украшавших лучшую улицу города. По гrotуарам, сложенным из кирпичей и осененным лапчатыми ветвями лип и серебристых тополей, ходила взад и вперед, лениво шаркая подошвами, толпа молодежи.

Гимназисты дошли до конца торгового квартала, единственного освещенного во всем городе. Андрей зевнул и заявил:

— Пойдем, ребята. Надоело печатать.

— Подожди, Андрюшенька. Еще разочек туда и сюда,— просил Володька. — Люблю по Дворянской потолкаться.

— Развлечение для дураков! — отрезал Андрей.

— Чудаки вы, ребята! Тут же народ топчется. Посмотреть приятно.

— Сам чудак. Дом у тебя — дворец, сад у тебя королевский. А тут пыль, толкучка.

— Надоели мне и дом и сад, — играя носком ботинка и явно рисуясь, сказал Володька. — Ну, черт с вами. Не хстите, так пойдем.

И они вступили в темную улицу, где шочью можно было, без чужой помощи, свернуть шею в выбоинах тротуаров, в ямах щербатой мостовой.

— Ребята! Знаете что? — сказал Ливанов. — Пойдем к Ваське Котельникову.

— Верно! — сказал Володька. — Интересно, дождался он новых штанов или нет.

— Ну, ты про штаны оставь, скучно и непотребно.

— Да я ничего, ребята, а только смешно.

Гимназическая квартира, на которой поселился Котельников, была недалеко. Двенадцать простых железных кроватей стояли у стен трех небольших комнат анфиладой. Необходимость экономии изгнала отсюда начисто мебель, обои, цветы и прочие, излюбленные в провинции, украшения. На середине всех трех комнат стояли большие столы, обитые клеенкой. У столов и по углам — побывавшие в боях, все в чернилах, кляксах и царапинах, венские стулья.

Василий сидел у стола, подперев обеими руками голову, и читал книжку. Он радостно поднялся навстречу товарищам.

— Ты когда же придешь в гимназию? — спросил Андрей.

— В понедельник буду. — И после короткой паузы добавил: — И штаны новые пошил.

— А почему ты в церкви не был?

— Опять конфуз получился. Надел я новый костюм и пришел в церковь, а инспектор меня завернул домой. Говорит — без мундира в церковь нельзя. А где я мундир достану?

— А где штаны взял, там и мундир найди.

— Как раз!.. На штаны я квартирные деньги истратил. А мундир наверное рублей двадцать стоит.

— И за тридцать не сделаешь, — сказал Володька.

— Ну, это ты не сделаешь, — возразил Ливанов. — Тебе ведь на белой подкладке надо.

— А разве не красиво?

— Не знаю. Вид дурацкий..

— Ты не говори, — девчата любят..

— Ну уж, какая тут белая подкладка!

— Что ж ты будешь делать?

— Инспектор велел подать заявление на имя господина директора. Если он разрешит, — могу в куртке ходить.

— Дурацкая история! Не все ли равно, в чем человек ходит: Лишь бы голова на плечах была, а не капуста, — сказал Андрей.

— А вот мой палаша почтеннейший, — усмехнулся Ливанов, — когда у него спросишь деньги на новые сапоги, говорит, что одежда — сие тлен, а в других случаях утверждает, что человека по одежде встречают.

— Выходит, гимназия не для меня? — спросил Василий и при этом покраснел.

— Это мой папа так говорит. Я, брат, его не очень уважаю, но, увы, родителя не выбирал.

— Да ты не думай, что меня это может смутить. Учтись буду, остальное чепуха.

Голос Василия звучал уверенно, брови сошлись, серые глаза глядели ровно, не мигая.

Хрипло, с надрывом задребезжал в коридоре разбитый звонок, и вся квартира вдруг пришла в движение. По комнатам с лорнетом в руках проплыла полная седая дама. Быстрым взором она оглядела присутствующих. Мальчик младшего класса, лежавший на кровати, положив ноги на железную спинку, вскочил и принялся одергивать куцую суконную курточку.

— Педеля чорт принес, — сообразил Ливанов.

— Ну, что ж... Еще девяти нет.

— Без четверти, — посмотрел на часы Володька.

В комнату уже входил невысокий человек в мундире министерства народного просвещения. Лицо, испещренное синими жилками, какие бывают у алкоголиков, маленькое и невыразительное. Черные седеющие волосы были зализаны на висках. Большие очки, с темными стеклами, сидели, как маска, и улыбка казалась гримасой. Истинное настроение, которое выражали глаза педеля, оставалось тайной.

Это был старший надзиратель гимназии и одновременно регент хора. Никто не знал, сколько лет он служит уже верой и правдой многочисленным директорам горбатовской гимназии. Это была ходячая традиция, архив воспоминаний. Он был одновременно гонителем всех живых, веселых ребят и трубадуром отучившихся героических поколений. В его рассказах какие-то давно ушедшие из гимназических стен Терещенки, Кривенки, Ковалевы и другие герои местных гимназических мифов казались необыкновенными существами, перед которыми нынешнее поколение не больше, чем пигмеи, достойные жалости и снисходительной улыбки из-под очков.

При исполнении служебных обязанностей и в особенности при посещениях квартир это был черствый педант с зорким, умеющим видеть глазом, враг гимна-

зической вольницы, гроза картежников, любителей слоняться вечерами по бульварам и набережным, словом, всех нарушителей строгого, узаконенного распорядка жизни школьников.

— Какое блестящее общество! — приветствовал он вставших и кланяющихся гимназистов. — Чем занимаетесь?

— Пришли товарища проведать... После церкви...

— Ага. Это хорошо. Котельников нуждается в товарищеской поддержке. Что же, читали что-нибудь, о чем-нибудь беседовали? Или, может быть, в картишки перебрались?

— Что вы, Яков Петрович! Да мы короля от дамы отличить не умеем.

— А в преферанс с разбойником играете? — сострил педель, подошел к столу, выдвинул ящик и внимательно осмотрел его.

— Это ваше? — спросил он Котельникова.

— Мое, — сказал удивленный этим обыском Василий. — А что вас там интересует?

— Ничего в особенности. Так вообще... Нам предложено начальством знакомиться с домашним бытом наших учеников. Лю-бо-пыт-но! — протянул он извлекая из ящика какую-то фотографию. — И неожиданно... Это кто же? Ваша матушка?

На фотографии была изображена полная, красивая крестьянка в платке и дешевеньком ситцевом платье.

— Да, мать, — отрезал Василий.

— А вы не фыркайте, молодой человек, — окрысился педель. — Усвойте себе вежливый тон с гимназическим начальством. А вы, господа, извольте отправляться по домам. Уже девять.

— Прощай, Василий, — со вздохом сказал Ливанов, — до лучших времен. Хотелось поболтать с тобой, узнать, откуда ты, что думаешь, что читаешь, да видишь — де-

вать часов, пора заткнуться. Покойной ночи, господин надзиратель!

— У меня есть имя, отчество, — обиделся педсель.

— А вы знаете, как вас в гимназии зовут? — захохотал вдруг Володька, и все трое приятелей поспешили ретироваться.

Андрей и Костя Ливанов дружат еще с первого класса. Гимназическая дружба всегда строится на общности интересов. Оба любят читать, оба признаны классом как заведомые «романтики»... Впрочем, лучше не перечислять. Много общего. Достаточно сравнить первые страницы записной книжки «Товарищ», где курсивом выведены вопросы и где ответы давались обдуманно и одновременно обоими гимназистами.

#### У А н д р е я :

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. <i>Имя, отчество и фамилия</i>                               | Андрей Мартынович Костров. |
| 2. <i>Возраст</i> . . . . .                                     | 14 лет и 2 месяца.         |
| 3. <i>Рост</i> . . . . .  | 156 сантиметров.           |
| 4. <i>Любимое занятие</i> . . . . .                             | Читать.                    |
| 5. <i>Любимый герой всеобщей истории</i> . . . . .              | Ганнибал.                  |
| 6. <i>Любимый герой русской истории</i> . . . . .               | Суворов.                   |
| 7. <i>Любимый писатель (поэт)</i>                               | А. Дюма.                   |
| 8. <i>Любимая книга</i> . . . . .                               | «Три мушкетера».           |
| 9. <i>Любимый цветок</i> . . . . .                              | Астра.                     |
| 10. <i>Любимый предмет</i> . . . . .                            | История и география.       |
| 11. <i>Любимый преподаватель</i> .                              | Нет.                       |
| 12. <i>Любимый товарищ</i> . . . . .                            | Костя Ливанов.             |
| 13. <i>О каком высшем учебном заведении мечтаете?</i> . . . . . | Еще не знаю.               |

#### У Л и в а н о в а :

- |  |  |
|--|--|
| 1. <i>Имя, отчество и фамилия</i>                  | Константин Давыдович Ливанов.                  |
| 2. <i>Возраст</i> . . . . .                        | 14 лет и 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> месяца. |
| 3. <i>Рост</i> . . . . .                           | 156 сантиметров.                               |
| 4. <i>Любимое занятие</i> . . . . .                | Читать.  |
| 5. <i>Любимый герой всеобщей истории</i> . . . . . | Ганнибал.                                      |
| 6. <i>Любимый герой русской истории</i> . . . . .  | Суворов.                                       |
| 7. <i>Любимый писатель (поэт)</i>                  | А. Дюма.                                       |

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 8. <i>Любимая книга</i> . . . . .                               | «Три мушкетера».          |
| 9. <i>Любимый цветок</i> . . . . .                              | Гвоздика.                 |
| 10. <i>Любимый предмет</i> . . . . .                            | История и русский язык.   |
| 11. <i>Любимый преподаватель</i> .                              | Нет.                      |
| 12. <i>Любимый товарищ</i> . . . . .                            | Андрюша Костров.          |
| 13. <i>О каком высшем учебном заведении мечтаете?</i> . . . . . | Филологической факультет. |

Надо, впрочем, заметить, что у Андрея в графе седьмой, рядом с именем А. Дюма, записан А. С. Пушкин, но перечеркнут. При более внимательном просмотре анкеты гимназисты заметили, что вопрос идет не о «любимых писателях», а о «любимом писателе». Евгений Онегин и даже Кочубей никак не могли заслонить в воображении друзей пребывающие в вечном движении фигуры Атоса и д'Артаньяна. Французский романист восторжествовал и остался в одиночестве.

У Ливанова, против графы седьмой, на самом берегу обширной кляксы виднеются буквы: «Лер. . .» и дальше за кляксой — неуверенная буква: «в». Можно догадаться, что здесь погребен под слоем чернил М. Ю. Лермонтов.

Суворов прошел единогласно, Ганнибал с трудом. У него были сильные соперники: Александр Македонский, Цезарь и Наполеон. Спор в пользу Ганнибала решил чрезвычайно авторитетный для обоих гимназистов дедушка Кострова — немец-инженер, эмигрировавший в Россию еще в середине девятнадцатого века и прошедший у себя на родине в маленьком саксонском городке суровую классическую школу.

На филологический факультет Андрюша Костров не согласился, несмотря на все уговоры товарища. Это значило стать преподавателем — однообразно и скучно. Но техника не увлекала, юриспруденция — тоже, оставалось не торопиться и ждать. . .

Страницы «Товарища» у обоих засекречены; постороннему глазу вход воспрещен.

Володька Черный — это не друг, это просто товарищ.

Он совсем иной. У него, например, на первой странице «Товарища» написаны всякие глупости и нарисованы рожи.

Но Володька Черный — хороший товарищ по прогулкам на Днепр, за город, в поле, в лес и во всех играх и боях, какие разыгрываются на гимназическом дворе. За это ему многое прощается. . .

Гимназический двор в перемену не то ярмарка, не то обезьянник. Никакой глаз не уследит за этими вихрями, шквалами и ураганами мальчишеской сытой энергии. Дерзость неотработанных мышц, хитрая жажда состязания находят себе выход на этом шумном и бойком спектакле.

Ведущие актеры — это ученики средних классов. Это они без устали показывают свою удаль, ловкость, силу, проворство в борьбе и в играх.

Старшеклассники снисходительно посматривают на четырнадцатилетних чемпионов бега, прыжков, игры в рюхи, в цурки, в мяч. Они с трудом сдерживаются, чтобы не броситься самим в этот веселый водоворот. Но шалости не подходят взрослым юношам, какими они себя считают.

У высокого здания гимназии, по асфальтовой дорожке, степенно прохаживаются с раскрытыми книжками в руках первые ученики и присяжные зубрилы всех классов, искренно презираемые шумными, растрепанными и беспечными подростками.

Под каштанами, в тени гимназической церкви, на вросших в землю, почерневших от времени скамьях без спинок — кружки ребят вокруг надзирателей и старшеклассников. Здесь ведутся беседы о далеких больших городах, о чужих странах, о городских происшествиях, о поражении царских армий под Ляояном.

Для малышей интереснее всего наблюдать игру в

мяч, которой не пренебрегают даже семиклассники. Из дальнего угла крепкие загорелые парни бьют толстой палкой упругий черный мяч, и он летит куда-то вверх, к кучам белых облаков, превращается на секунду в черного жучка, в крошечную точку, чтобы потом упругим ударом упасть с высоты где-нибудь у церкви или у инспекторского флигеля.

К месту, куда вот-вот упадет мяч, сбегается толпа. Мальчишки сшибают с ног друг друга, — каждому лестно поймать мяч налету, хотя черный кусок резины больно ударяет по рукам.

Зато потом получишь право взять в руки толстую палку и бить мяч, чтобы ловили другие.

В игре в мяч можно поразить товарищей и отличиться.

Заветная мечта каждого игрока ударить мяч так, чтобы он перелетел весь огромный лысый двор и упал где-нибудь в каштанах или еще дальше, на церковную крышу, или же — предел мечтаний, об этом будут говорить целую неделю, — за церковью, на улице. На гимназическом дворе так легко вызывать восторги и презрение! Никакая самая жирная пятерка не доставит столько сладостного удовольствия.

Одному семикласснику, Сергееву, удалось забить мяч через улицу, в чужие дворы. Мяча не нашли, но Сергеев стал на многие годы героем гимназии, хотя ему никогда больше не удалось повторить рекордный удар.

На гимназическом дворе редко появлялись новые игры. Устойчивые традиции переходили от поколения к поколению.

Любили жестокие игры. Например, «квасок».

Человек пятьдесят ребят становились в широкий круг, чуть ли не в полдвора. Мяч выбирали покрепче, чтобы бил сильнее. В игре принимали участие наиболее сильные и ловкие.

Жертву, попавшую в круг, бил каждый, кому удава-

лось поймать мяч. Мяч старались передать тому, кто оказывался поближе к жертве и бил не щадя. Чемпионы били метко и жестоко. Когда кто-нибудь «мазал», все гоготали от удовольствия. В круг вступала новая жертва, и мяч летел к самому сильному, чтобы «бабахнуть нового, как следует». Неудачникам доставалось так крепко, что в классе они приходили хромая, а дома матери никак не могли постигнуть, как это можно набить сплошной сипяк от колена и до пояса.

Ребята любили борьбу, но боролись неправильно, как придется, «по-русски». Борьба нередко переходила в драку. Гимназический фельдшер нередко перевязывал разбитые лбы, развороченные носы, исцарапанные руки.

Спорта не знали. Военная империя царей делала ставку на количество пушечного мяса, а не на качество бойца.

На уроках гимнастики седоусый амурский казак с желтыми лампасами добродушно рассказывал анекдоты. Развалина в полковничьем чине, уже плохо видевший и слышавший, он знал только обычные вольные движения: «Руки на бедра! Садись! Руки вверх! Руки в стороны!»

Из-за пыльных кустов сирени, в глубине двора, черными зеницами окон глядят низкие домики, крашенные клеевой краской, синие и зеленые, в которых живут инспектор, надзиратель и кое-кто из педагогов. За домиками — сад, доступный только для начальства, и большой запущенный дровяной двор, куда забираются самые озорные из ребят, чтобы между штабелей березовых пахучих дров затеять игру в карты или же рассматривать, неизвестно откуда попавшие в детские руки, подозрительные картинки.

Не было такой игры или забавы, в которой Андрей и его друзья не принимали бы участия. Прыгают ли в чехарду, поднимают ли тяжелый плоский камень, тя-

нут ли две партии в разные стороны толстый, негибкий, как палка, канат, начнется ли головоломная игра в пятнашки на высоких трапециях, Андрей, Ливанов, Володька Черный тут как тут.

С первых же дней к ним присоединился и Котельников.

Иногда на гимназическом дворе разыгрывались и чрезвычайные события. Партия пятиклассников забиралась на крышу гимназии прямо к золоченому двуглавному орлу с черной короной. Мяч со звоном влетал в класс или даже в церковь, пробив по пути зеркальные стекла, или попадал в голову проходящему педагогу. Оскорбленный небожитель устраивал скандал, и виновники терпели строгое наказание.

В понедельник на большой перемене именинником оказался Василий Котельников.

Рулев, один из первых силачей в классе, знавший все правила французской борьбы и даже, говорят, бокс, считая себя обязанным восстановить свое доброе имя, подошел к Василию и сказал.

— Ты не думай, что если я тогда упал, так ты сильнее меня. Я поскользнулся. . .

— Очень возможно, что ты сильнее, — спокойно возразил Василий и повернулся спиной к Рулеву.

— Ты, вероятно, воспитывался в сморгонской академии, — опять вспылил Рулев.

— Я просил бы оставить меня в покое, — обернулся к нему Василий, — у меня нет никакого желания иметь с тобою дело.

— Если с тобой говорят, ты слушай. . .

Андрей видел, что Василий нервничает. Но по традициям гимназии не следовало мешать двум товарищам подраться. Все окружающие молчали. Рулев почувствовал, что нужно действовать решительнее. Он подошел к Василию, пальцем ударил его по кончику носа и в тот же

момент грузно сел на пол под крики ликующей толпы гимназистов. Удар в грудь был нанесен неожиданно и крепко.

— Ты не по правилам! — закричал, поднимаясь, Рулев. — Я тебя убью! — И, встав на ноги, он опять бросился на Василия.

На этот раз Василий ловко повернул его к себе затылком и загнул руки на спину. Рулев шел, согнувшись и рыдая от злости и боли, туда, куда вел его Василий. Гимназический двор содрогнулся от криков восторга. Василий довел врага до двери директорской прачечной и втолкнул внутрь. Прачки, работавшие в полуподвальном помещении, подняли насмех скатившегося к ним по лестнице длинного плачущего гимназиста и выгнали из подвала, шумно размахивая мокрыми жгутами.

На пятом уроке в класс вошел инспектор. Опытный глаз гимназистов прочел убийственную суровость в лице этого педагога, прозванного «Водовозом» за окладистую неопрятную бороду и красный с сетью фиолетовых жилок нос.

Он стал перед партами, оправил пенсне и медленно изрек:

— Вы плохо начинаете, Котельников. Вы, кажется, третий день в гимназии и уже устроили драку.

— Это не он, Исидор Львович, — поднялся было Андрей.

— Молчать! — вдруг круто рывкнул инспектор. — Вы вечно суетесь не в свое дело. Я предупреждаю вас, Котельников, что такое поведение нетерпимо в стенах министерской гимназии. Ступайте в городское училище. Это, кажется, больше вам подходит...

Василий смотрел на парту, на которой были вырезаны два сакраментальных перекрещивающихся треугольника, и водил ногтем по грубым чертам рисунка.

— Что вы теперь молчите, как истукан? — опять закричал инспектор. — Отвечайте: была драка?

— Была, — прошептал Василий.

— А вы еще заступаетесь, — напустился инспектор на Андрея.

— Рулев его первый задел, — вскочил Андрей. — Рулева нужно наказать.

— Рулев — выдержанный мальчик. Он не будет лгать. Я в последний раз предупреждаю вас, Котельников, — у вас особое положение. . . И, если вы хотите остаться в гимназии, перемените свои повадки. Сейчас я ставлю вам единицу по поведению, и вы останетесь без обеда на шесть часов. Рулев за участие в драке останется на два часа.

Он приложил ладонь к доске парты, как печать под приказом, и вышел в коридор.

Как только педагог, который вел урок, вышел, в классе поднялась буча.

— Ты ябеда, Рулев! — кричал Андрей, забравшись на парту с ногами. — Ябеда! Мы с тобой разговаривать не будем.

— Это ты не будешь. Ну, и водись со своим мужичком.

К удивлению Андрея многие поддержали Рулева.

— Твой Котельников расхвастался, как индюк, — сказал высокий гимназист Казацкий. — Подумаешь — герой. . . Семерых одним взмахом! . .

— Ты подлизываешься к Рулеву!

— А ты к Ваське подлизываешься, — промямлил тяжеловес Савицкий, сын помещика, первый силач в классе, которого прозвали «Козьявкой».

— Ты, Козьявка, дай срок, — Василий тебя разложит.

— Чего же он не раскладывает? . . Я так и лег, — медленно жевал слова Козьявка.

— А надо бы вас сравнить, — обрадовался Казацкий. — Козьявкашиб бы с тебя спеси, — обратился он к Василию. — Он у нас как медведь, ланой деревья крушит.

— Твой Козьявка — пентюх, мешок с изюмом, а Васька ловкий, — спорил Ливанов.

— Бросьте, ребята, — сказал Котельников. — Что вы хотите, чтобы меня на двенадцать часов оставили? Отец узнает — заперет.

— Братцы! Уже жених, усы черные, а его отец порет, — заорали довольные сторонники Козьявки.

Василий выбежал из класса.

— Браг ретировался, — оживился вдруг Козьявка. — Андрюшка, поедем в Отрадное.

— Что там делать, рыбу в луже ловить? Мы лучше на Днепре.

Отрадное было небольшое имение, принадлежавшее отцу Козьявки, в восьми километрах от города Козьявку ежедневно привозили и увозили на паре вороных лошадей с развевающимися гривами.

— Мороженое есть. Скворцов дразнить. На трубе играть. Рыбу ловить. Мало ли дела, — соблазнял Козьявка. — А не хочешь, — чорт с тобой. Больше не позову. Поедем, — обратился он к Казацкому.

— Не могу, сегодня у меня урок музыки.

Казацкий играл чуть ли не на всех инструментах и даже заменял дирижера в гимназическом духовом оркестре.

— Возьми меня, — молящим голосом заявил Киреев, самый маленький по росту в классе.

— Ну ты, Молекула! Ты еще по дороге потеряешься. Отвечать придется. — Козьявка засмеялся булькающим смехом.

Огорченный Киреев отошел в сторону и буркнул:

— Очень ты гордый, Козьявка. — И вдруг, обернувшись, громко прибавил: — А я знаю, что у тебя папа дурак. . . Все говорят. . . — И убежал с быстротой испуганного трусишки к директорской квартире. Здесь он отсиживался, дрожа и браня себя за то, что осмелился рассер-

дить первого силача в классе. Ему казалось, что Козьявка стережет его за дверью шинельной.

Когда на гимназическом дворе не осталось ни одного мальчика, Молекула отправился в класс. Опоздание на урок его не беспокоило, так как предстоял урок француза. . .

Наблюдателю, который хотел бы проследить, как и чем живет класс во время урока, следовало бы поместиться не на кафедре, откуда зорко следят за рядами парт учителя. Пожалуй, даже не там, где высоко над классом, у небольшого образа горит лампада. Нет, лучше, всего притаиться где-нибудь под партами, поближе к камчатке, у блистающей белыми изразцами печи.

Если глянуть на класс быстро пробегающим оком, — здесь царят порядок и добродетель. Гимназическая муштра научила мальчиков делать серьезные глаза, когда надрываешься от смеха, шевелить под партой руками так, чтобы плечи и локти оставались неподвижными, а самое главное — одним глазом внимательно следить за тем, что делает преподаватель, а другим читать под партой увлекательного Густава Эмара или Фенимора Купера.

Класс с кафедры — это тридцать пять внимательных, аккуратно одетых подростков. Класс снизу — это фантастическая универсальная мастерская, где все в движении. На первых партах ножиками режут на гранях блестящих фаберовских карандашей инициалы гимназисток-«симпатий». Дальше играют в перья, в щелчки, в шашки, рисуют, читают посторонние книги, пишут друг другу записки, готовятся к следующему уроку. На камчатке, не стесняясь, едят, разрисовывают цветными карандашами ногти или собственные подошвы, играют

с живой, пойманной в мусорном ящике, мышью, лепят чортиков из хлеба или из воска церковных свечей, рассматривают обильно шествующие по классу порнографические книжонки и открытки.

Разумеется, все это возможно только на уроках снисходительных педагогов. Когда же преподает латынь господин директор или русский язык господин инспектор, он же «Водовоз», — жизнь под партами замирает. Разве только камчатка решается еще копошиться, прилагая все усилия к тому, чтобы с кафедры нельзя было заметить никаких признаков подпольной деятельности.

Совсем другое дело на уроках француза, Карла Ивановича Форне. Именно в эти часы любопытно побывать в наблюдательном пункте где-нибудь у печки под партой, хотя бы там, где вытянул длинные, донкихотовские ноги лучший танцор класса, Януш Менчик, у которого на зависть товарищам появились уже черные пушистые усики на верхней губе.

Но сначала следует познакомиться с виновником и центральной фигурой спектакля, штатным преподавателем французского языка, господином Форне.

Если спросить старожилы, хотя бы того же Менчика, который легкомысленно расходует два года своей молодой жизни в каждом классе, то окажется, что Карл Иванович — это уже «прогресс» по сравнению со своим предшественником — «Матреной Ивановной», или, иначе, надворным советником Антоном Карловичем Пуссеп.

Антон Карлович не признавал обязательной для педагогов униформы. Он носил упомянутый в соответствующем циркуляре синий вицмундир не с темно-синими, но с рыжими, истертыми и изорванными брюками.

Одну ногу он обувал в старомодный глубокий галош, а другую — в сапог с ушками, за которые западала бахрома выдавшей виды штанины. В морозы он набрасывал

вал на плечи темнозеленый плед, на котором бережно пронес сквозь долгие годы следы злых мальчишеских шуток и шалостей, начиная от подозрительных пятен и кончая сухими селедочными хвостами, чешуей лука и цепкими репейниками. Ходили слухи, что у себя на родине Антон Карлович получил только начальное и какое-то ремесленное образование и, эмигрировав в Россию, совершенно случайно занялся педагогической деятельностью, опираясь не на стаж или образовательный ценз, а на случайные, но веские связи.

Господин надворный советник ушел в отставку только в прошлом году не столько по возрасту, сколько в результате неудачной встречи с попечителем, посетившим горбатовскую гимназию.

Попечитель, известный гистолог, не говорил по-французски, а Антон Карлович, невзирая на тридцатилетний стаж пребывания в России, не говорил по-русски. Директор гимназии оказался плохим переводчиком, — из иностранных языков он знал только язык древних римлян и не менее древних афинян.

Двум почтенным педагогам так и не удалось сговориться, и они решили расстаться навсегда. Не помогли даже связи, и Антону Карловичу пришлось уступить чиновному гистологу и подать прошение об отставке.

Карл Иванович Форне по-русски говорил не плохо, но с сильным акцентом, знал наизусть «Полтаву» и даже умел ругаться, не всегда, впрочем, улавливая истинный смысл ругательств к немалому удовольствию гимназистов.

Он был чрезвычайно близорук и, читая книгу, вынужден был приставлять ее к самому носу. В этот момент он не замечал ничего, что творится в классе. Ученики уже давно установили это обстоятельство экспериментальным путем и отвечали ему исключительно по шпаргалкам. Вызванный для ответа гимназист выхо-

дил к кафедре, в правой руке раскрывал книгу, а в левой распускал узкую, как змея, бумажную ленту, на которой мельчайшими буквами были написаны перевод, слова и даже спряжения излюбленных Карлом Ивановичем неправильных французских глаголов. Слушая удачные ответы гимназистов, педагог исполнялся убеждением в своей талантливости, довольно кивал круглой головой и говорил:

— Се бьен, се бьен!

Перед каждым уроком Форне класс коллективно обсуждал, вводится ли на предстоящий урок военное положение, или же на уроке будет — «на земле мир, в человецех благоволение». Если большинству нужно было на уроке французского готовиться к латыни или писать заданные накануне сочинения по русскому языку, объявлялось в «человецех благоволение».

Тогда в классе воцарялась тишина, ученики вдохновенно читали французскому стиху и прозу по шпаргалке, а оставшиеся без дела могли читать под партой Дюма или Хаггарда, рисовать карикатуры или каллиграфически выписывать все те же сентиментальные инициалы.

Но чаще всего объявлялось военное положение.

Класс развлекался.

Когда Форне входил в класс и занимал место на возвышении, в дальнем углу на губной гармошке кто-то немедленно заводил:

Во саду ли в огороде...

Форне вскакивал и кричал:

— Какой музик в классе? Прекратить песопразие!

Но гармошка не умолкала. Тогда Форне, схватив классный журнал, семеня ногами, торопился к камчатке, прямо к последней парте, где сидели Беленко и Менчик, самые высокие парни в классе. На камчатке Форне заставлял полный порядок. Руки гимназистов лежали на верхней доске, и глаза ели начальство.

— Ви играйт? — кричал, оттопырив верхнюю губу, Форне.

Класс уже давно ждет, когда будет смешно.

— Что вы, Карл Иванович? — делал изумленное лицо Беленко. — На чем? Да я ни на чем не умею. Мне в детстве слон на ухо наступил.

Все фыркают.

— Ви мне дерзит! — кричит Форне.

Но в это время гармошка играет уже на первой парте.

Форне с быстротой учителя танцев поворачивается на каблуках и мчится к кафедре.

Но гармонь опять играет на камчатке.

Форне останавливается. Он растерянно смотрит то в одну, то в другую сторону и, наконец, кричит:

— Все поднимайте рук!

Над классом взлетает лес гибких рук.

Но гармошка играет у печки.

Форне недоумевает.

Он до сих пор не может понять, что здесь пущена в ход самая примитивная техника. В классе две гармошки. Обе привязаны к длинным веревкам. Веревки привязаны к ногам. Двинуть ногой — и гармошка перелетает из конца в конец класса, оставаясь невидимой и неуловимой. Когда все поднимают руки, кто-нибудь один ныряет под парты и самоотверженно продолжает концерт.

Но этого мало шалунам. Класс разошелся. Теперь самые озорные из гимназистов бросаются помогать французу ловить гармошку.

Барсуков, гибкий и ловкий беззастенчивый плут с голубыми ясными глазами, первым спешит на помощь. — Карл Иванович! Карл Иванович! Она здесь, здесь... на камчатке!

Карл Иванович верит и мчится опять к камчатке.

Барсуков с ловкой неловкостью спотыкается и падает прямо под ноги Карлу Ивановичу. Карл Иванович, боясь наступить на мальчика, оступается, скользит и грудью падает на ближнюю парту. Пенсне сваливается с носа. Педагог силится подняться. Все помогают.

А у печки во-всю задувает гармошка.

Карл Иванович взбешен.

Полная шея над крахмальным воротником набухла и налилась краской. Покраснела даже круглая, величинной с блюдце, лысина. Капля пота струится со лба на нос.

— Я больше не могу! сделайте. Я иду к господин директору.

— Карл Иванович! Карл Иванович! не надо жаловаться господину директору, — воет весь класс.

Но Карл Иванович уже мчится к дверям, а за ним через весь класс из дальнего угла несется большая белая птица из крепкой ватманской бумаги, с каплей жидкого клея на носу. Птица летит быстрее, чем мчится разъяренный педагог. Вот она уже на спине Карла Ивановича. Клей сделал свое дело, и Карл Иванович несется по коридору с большой белой птицей за плечами.

За Карлом Ивановичем мчится Барсуков.

— Карл Иванович! Карл Иванович! — кричит он вслед. — Мы больше не будем.

Но Карл Иванович не слушает Барсукова.

Тогда проказника осеняет гениальная мысль.

— Карл Иванович! Карл Иванович! посмотрите на себя в зеркало, — кричит он французу.

Карл Иванович невольно останавливается у высокого настенного зеркала и только теперь замечает болтающиеся за плечами бумажные крылья, каплю пота, стекающую уже по подбородку, растрепанные волосы и недопустимо широко обнажившуюся лысину. Он решает про себя, что в таком виде, конечно, идти к господину

директору нельзя, и уже тихими, связанными шагами поднимается по серой гранитной лестнице и бредет пустыми коридорами к учительской комнате.

Здесь отставной солдат, сторож Михей, со снисходительной заботливостью снимает со спины педагога белую птицу.

— Какие злые все дети! — говорит вслух Карл Иванович по-французски.

Он садится у окна и с грустью смотрит на пустой во время уроков гимназический двор и на далекую струю большой русской реки, о которой он когда-то знал только из географии. Он вспоминает маленький город в Провансе и свое собственное невеселое детство...

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Ребята, ребята! Я нового историка видел.

Андрей сидел верхом на кафедре и стучал толстым карандашом по чернильнице, вправленной в дубовую доску.

— Врешь, где видел?

— Он еще едет!

— Кто едет? Где едет?

— Ревизор едет! — заорали в классе.

— Вот святой крест! Лысый, с орденом и бритый. Сейчас к нам придет.

— Ребята, как встречать будем? Со скандалом или без одного?

— Давай, учиним гала-представление! — предложил, выделывая балетное па, музыкант и танцор Казацкий: — сразу бояться будет.

— А вдруг она симпатичная? — кривляясь, заявил розовощекий толстяк Женька Керн.

— Все педагоги — сволочи. Все равно колы будет ставить, — протянул Козявка.

— Такому дураку, как ты, — заявил Андрей, — только осел больше кола, поставит и то по ошибке. Давайте, ребята, подождем. Может быть, интересно читать будет. Наша «Плешь» по древней истории ни чорта не смыслила.

— Подождем под дождем, — вяло поддержал Ливанов. — Мне папа говорил, что он красный. Его даже не хотели к нам в гимназию принимать.

— Чего же ты молчал, остолоп, попович миропомазанный? Может, в самом деле человек порядочный. Что-нибудь дельное расскажет. А то все войны да цари, цари да войны по Елпатьевскому.

— А ты что захотел — французскую революцию?

— Встать! — прокричал дежурный.

Новый педагог остановился на пороге и бросил быстрый взгляд на Ливанова, у которого замерло на губах слово «революция». Затем он галантно поклонился и быстро взошел на кафедру.

В воцарившейся, небывалой в пятом классе, тишине он осмотрел учеников долгим, внимательным взглядом и, записав в журнал число отсутствующих, начал:

— Так вот, господа, в предыдущем классе вам приходилось проходить курс истории древних народов. Перед вами прошли картины жизни Греции и Рима, которые, возникнув из небытия и поднявшись до вершин могущества и культуры, завершили свой путь, проложив дорогу для новых культур, новых народов, исторический путь которых пройдет перед вами на наших занятиях в текущем году. Мы начнем с раннего средневековья, когда только начала слагаться христианская культура передовых европейских народов.

«История показывает нам, что на земле ничто не вечно, что власть, порядок, слава и сила каждой страны преходящи. Что для самого могущественного государства, как и для человека, есть утро, есть день, когда наступает расцвет народных сил, и есть вечер — закат и упадок. К счастью, мы живем в стране, которая еще переживает свое утро, которой еще предстоит вступить в период расцвета и настоящей культуры».

— Как? — не выдержал Матвеев, мечтавший на школьной скамье только о гусарском мундире и кавалерийских походах. — Разве сейчас наша страна не является самой сильной в мире? — Он встал, расправил плечи,

сделал грудь колесом и откинул назад маленькую курносную голову с рыжей шевелюрой. — Разве не находится Россия сейчас в расцвете могущества и славы?

Историк засунул средний палец в раструб воротника, оправил галстук и сказал со снисходительной улыбкой:

— Видите, молодой человек, военные победы еще далеко не все. К сожалению, мы не стоим в ряду культурнейших европейских народов. У нас, например, слабо развита промышленность. У нас много неграмотных. Мы не разработали еще, не освоили собственных природных богатств. Да мало ли еще что? Возьмите Англию. Ее внешнее могущество соединяется с высокой культурой, тогда как у нас... — Педагог развел руками. — А русская литература? — закричал Рыбаков, один из лучших учеников в классе, писавший сочинения на пятерки.

— А наше искусство? — крикнул кто-то с задней парты.

— А музыка, театр?

Педагог поднял руку.

— Успокойтесь, успокойтесь, господа! Вы, повидимому, неправильно меня поняли. Я сам являюсь российским патриотом и не собираюсь ронять в вашем представлении высокую честь быть русским. Но истинные патриоты смотрят правде в глаза.

— Правильно! — крикнул Ливанов.

— Так вот, — продолжал педагог, — мы и должны признать, что у нас, в нашей стране далеко не все обстоит так, как нам бы хотелось.

— Каждый хочет по-своему, — крикнул Казацкий.

— Так, как хотят настоящие, а не квасные патриоты, — поправился педагог.

— А кто такие квасные патриоты? — наивно спросил Матвеев.

— Ты что, не знаешь, дурень? — вмешался Андрей. —

Это те, что пьют квас, то есть такие же олухи, как ты. — Господа, спокойствие! — сказал педагог. — Я очень рад, что вы с таким жаром обсуждаете вопросы любви к родине. Но я думаю, что не следует нам вносить в этот вопрос столько азарта. У нас будет время, и мы обсудим этот вопрос со всех сторон. Может быть, даже напишем сочинение на эту тему. Сейчас же я предлагаю приступить к работе. Я хочу только сказать, что для всякого мыслящего человека, сознательно относящегося к современным событиям, необходимо внимательное изучение истории. Только в истории можно найти объяснение тем роковым неудачам на Дальнем Востоке, которые принесли столько страданий нашей родине.

— Какие неудачи? — вскочил опять Матвеев. Лицо его стало медно-красным. — Никаких «роковых неудач» нет. Это все мелкие сражения! Русская армия сбросит японцев в море, и мы превратим Японию в русскую колонию.

— Сядь! — закричали Андрей, Ливанов и другие. — Заткни фонтан красноречия!

Педагогу вторично пришлось успокаивать класс.

Он стал теперь у окна, скрестив руки на груди, и речь его лилась свободно и увлекательно. Гимназисты забыли о вспыхнувшем было горячем споре и слушали непривычно живой рассказ педагога.

Когда раздался звонок, мальчики не вскочили со своих мест, как обычно, и в полной тишине дали педагогу закончить урок.

Но зато с его уходом поднялась буря. Матвеев вскочил на парту, застучал каблуком в верхнюю откидную доску и заорал:

— Рано радуется! Мы его живо сократим. Разговорился. Бердичевский соловей!

— И заметили? Все только про бунт, только про бунт! — закричал Казацкий.

— Эти фокусы мы знаем! — продолжал кричать Матвеев. — Вот пойдем к директору и обо всем доложим.

— А что ты, собственно, доложишь? — спросил, сдерживаясь, Андрей. — Что он сказал непозволительного? То, что он говорит, в газетах пишут.

— В жидовских газетах, — кричал Матвеев, — и потом — что можно в газетах, того нельзя в гимназии.

— Не всем известно, что ты недорос еще до политических вопросов. Он, видимо, на тебя не рассчитывал.

— Ну вас к чорту! — выругался Козывка. — Чего переполошились? Сколько таких на руку идет? — Он выставил вперед мясистую лапу.

Но спор не утих. Было известно, что в классе есть два лагеря, две враждующие стороны: патриоты и либералы, но до таких открытых столкновений никогда не доходило.

Когда гимназисты по звонку вывалили в коридор, к пятиклассникам группами подходили ученики старших классов. Они жадно расспрашивали о том, что говорил новый педагог, как он себя держал, ставил ли баллы и вообще что это за птица. Пятиклассники с преувеличенно серьезным видом пускались в длительные рассуждения по поводу первого урока нового историка.

— Послушай, Андрей, — спросил Котельников, — почему Матвееву так не понравился новый преподаватель?

— Патентованный тупица! Отец — бранд-майор, в союзе русского народа. А сын мечтает быть гусаром. Учится на одних колах. Зато марши всех кавалерийских полков дует наизусть. Формы всех полков за сто лет изучил на зубок. А больше ничем не интересуется.

— Курточка обтянутая, коротенькая, — перебил Ливанов, — штаны — диагональ на штрипках — вот-вот лопнут. А из карманчика — гроздь брелоков. Матвеев ходит, а брелоки звенят.

— Самый счастливый день в его жизни будет, когда он наденет погоны. Ну и, конечно, патриот умопомрачительный.

— Не один Матвеев придерживается таких взглядов, — раздался вдруг голос из дальнего угла класса. Это говорил невысокий, болезненного вида юноша, один из трех евреев, принятых в класс «по процентной норме».

— Наконец-то ты, Гайсинский, заговорил, — рассмеялся Андрей. — А то больше все молчишь в кулачок.

— Речь — серебро, молчание — золото, — усмехнулся Гайсинский. — А в гимназии, пожалуй, даже не золото, а платина. А для евреев — бриллиант.

Нечего было возразить на это.

— У нас немало ребят, которые думают так, как Матвеев, — продолжал Гайсинский. — Например, Козявка, Казацкий, Кириченко... Или, например, Салтан. Впрочем, смеет ли исправничий сын иначе мыслить? А разве наши классные либералы знают, чего они хотят? Они тоже не отдают себе хорошенько отчета в том, что делается.

— Ну, это ты зря, — обиделся Андрей. — Я каждый день читаю газеты. И притом не «Киевлянин», а «Киевскую Мысль».

— Мало читать, нужно и думать...

— Ну, ты известный социал-демократ.

— Не надо об этом в классе! — испуганно вскинулся Гайсинский.

— А разве в классе нельзя говорить о политике? — спросил Котельников.

— О, святая наивность! — воскликнул Ливанов. — Если составить список вещей, о которых нельзя говорить в гимназии, то получится объемистая тетрадь.

— Преувеличиваешь, — сказал Василий.

— Преувеличиваю? Считаю, — он стал откладывать на пальцах, — о политике нельзя, о революции нельзя,

о любви нельзя, о том, что бога нет, нельзя, об украинской истории нельзя, о Шевченке нельзя, украинские песни петь — и то нельзя. . .

— Каждую перемену поем.

— На дворе, на улице. . . А ты попробуй спеть на гимназическом вечере. Кроме «Рева та стогне Днипр широкий», ничего нельзя. На рождественский вечер наш хор хотел подготовить две-три вещицы на украинском языке, так директор начисто запретил, и Хромому Бесу влетело.

— Пожалуй, ты прав, — усмехнулся Андрей. — Синодик этот можно и продолжить.

— Вот то-то ж и оно-то, — сказал Ливанов.

— Так почему же этот новый педагог. . . как его зовут?

— Игнатий Федорович.

— А фамилия?

— Смешная какая-то. Не то Корешок, не то Посошок, не то Пастушок.

— Марущук. . .

— Да, так почему же он так откровенно высказывается?

— А ты заметил, как он хвостом вилял. Я, мол, сам патриот. Но нужно, мол, правде в глаза смотреть.

— А все-таки я вам скажу, — решительно заявил Ливанов, — Игнатий Федорович молодец! Разумеется, он говорит не все, что думает. Видишь, и без того какая буча поднялась. Но зато он заставляет нас думать. Обмениваться мыслями. Мы бы сейчас играли в квасок или на деревья лазили в инспекторском саду. А теперь вот сидим и говорим о деле.

— А знаете, ребята, Гайсинский прав. Надо бы нам серьезно поработать. Собраться где-нибудь, поговорить. Слушай, социал-демократ, — обратился Андрей к Гайсинскому, — ты наверное знаешь, где собирается на-

род... Сделай так, чтобы мы могли принять участие...  
— Кто таких мальчишек примет в серьезный кружок?—  
досадливо сморщился Гайсинский. — На другой день  
разболтаете и засыплете ребят. Или папашам и мамашам  
расскажете, или симпатиям. А если хоть одна симпатия  
знает, то весь город узнает.

— Не хочешь, чорт с тобой. Мы и сами свой кружок  
устроим.

— С этого и надо начинать, — сказал Гайсинский.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В «инициативную группу» вошли Ливанов, Котельников, Андрей, первый ученик Ашанин, Берштейн и Якубович.

Берштейн был сыном местного врача-окулиста, пользовавшегося некоторой известностью даже за пределами города. Берштейны жили богато. Длинноносые ботинки с рантом, новенький лакированный пояс, несмятый воротник курточки гимназиста — свидетельствовали о довольстве и обеспеченности всей семьи. Берштейн позволял себе необычайную для еврея роскошь — не гоняться за пятерками, и учился «на три с плюсом».

Якубович, сын мелкого почтового чиновника, всегда был одет бедно и неряшливо. Прямые, бесцветные, как пакля, волосы были отпущены длиннее, чем полагалось по неписанным гимназическим правилам, и из-за этого между Якубовичем и инспектором происходили постоянные стычки.

Инициативная группа собралась у Ашанина. Сначала рассматривали семейные альбомы и отцовские книжки, затем пили чай с вареньем и, только выполнив весь ритуал, занялись организацией кружка.

— Что же, собственно, мы будем делать? — спросил Якубович, с самого начала относившийся к затее скептически.

— Читать, обмениваться мыслями, спорить, — ответил Андрей.

— А какие книги мы будем читать?

— Жаль, что нет Гайсинского, — заявил Берштейн. — Он все это хорошо знает.

— Он о себе много воображает. Его звали.

Все собравшиеся не могли назвать ни одной книги, чтением которой следовало начать занятия кружка и которую можно было бы достать немедленно.

В библиотеке Ашаниных подходящих книг не нашлось. Из отцовских кабинетных шкафов глядели кожаные корешки томов «Свода законов», «Установления о наказаниях», рядом серели, переплетенные в коленкор с монограммами, ровные томики классиков, приложения к «Ниве» и несколько десятков французских романов.

— Придется все-таки попросить Гайсинского дать нам список «таких» книг.

— Каких «таких»? — спросил Ливанов. — Не будем же мы читать все сплошь по рецепту Гайсинского. Надо знать твердо, чего мы хотим сами. Я вовсе не считаю, что всем нам следует стать социал-демократами. Это, кажется, очень скучно. Мне, например, больше нравятся террористы.

— Авантюрный элемент в революции, — насмешливо сказал Якубович.

— Ну, знаешь... На одних брошюрах сидеть, как курица на яйце, когда кругом борьба, — это тоже не дело. Это ведь дело характера.

В дверь постучали.

— Войдите, — сказал Ашанин.

— Валя, к вам можно? Нам скучно, — раздался женский молодой голос.

— Кому это — вам? Если ты, Санька, одна, то нельзя. А если у тебя подруги, то можно.

— Валька, ты свинья, — сказал Ливанов. — Саня, конечно же можно! Ведь мы на сегодня кончили? — спросил он товарищей и, не дожидаясь ответа, поспешил к двери.

В комнату вошли три девушки гимназистки. Саня, сестра Ашанина, и две ее подруги, Ценя Смирницкая и Геля Корытко, кокетливые польки, насчитывавшие среди своих поклонников добрую половину товарищей Андрея.

Андрей густо покраснел и поспешил в дальний угол комнаты.

Он сам предложил собраться у Ашанина. И теперь трусил, как бы товарищи не догадались, что, собственно, влекло его в этот дом. Конечно, у Ашаниных собираться удобно — дом большой и просторный. У Валентина комната отдельная, и родители культурные, приветливые. Но все это было не главное. Главное была Саня.

В третьем классе Андрей на все замечания и намеки товарищей о девушках отвечал презрительно: «Баба! Что общего — казак и баба?» Эти слова звучали уверенно еще в четвертом классе. Но в пятом это уже не выходило. Во-первых, в душу Андрея забрались сомнения — какой он казак. Штаны на штрипках, фуражка, как коробочка. Мать — француженка, а отец — москаль. Только бабушка украинка... Портрет красивой девушки в косах и лентах висит до сих пор в кабинете отца... А самое главное, нет уже того равнодушия к девушкам, от которого было легко и весело в младших классах. Вот хотя бы Саня Ашанина. Почему-то, когда она появляется, Андрею кажется, будто он выпил сладкого и терпкого вина, и оно остановилось где-то глубоко в горле. У нее коса с нарочно взбитым пушистым концом и колечки волос над висками...

Началось это с одной вечерни. Андрей стоял в церкви на краю своего ряда. Служба кончилась. Первыми выходили гимназистки. Одна девушка вышла и зачем-то вернулась. В свете паникадил вспыхнули сапфирами два невероятных глаза. Товарищи сказали, что это Саня, сестра Вальки Ашанина, первого ученика.

Через неделю Андрей пришел к Ашаниным и познакомился с Саней. Оказалось, что глаза у Сани ничем особенным не отличаются. Хорошие, ясные глаза. Но обаяние первого впечатления осталось.

Андрей дал бы отсечь себе руку, чтоб только никто не узнал об этом. Даже Костя Ливанов.

Мысли Андрея и Кости часто возвращаются к теме о девушках и о любви. Тогда оба мальчика разговаривают короткими фразами, разделенными большими паузами, и никогда не шутят, и если сорвется обычная плоская шутка, то разговор обрывается, замолкает... Они стыдливо наблюдают, как развиваются их мальчишьи тела, как бродят в них какие-то беспокойные соки и глубокие, непонятные волнения. Они уже давно знают, что все это пол, и все это кончится близостью с женщиной. Они отчетливо представляют себе, как все это бывает, — рассказывали товарищи, и мало ли порнографических фотографий ходит по классу. Но все это еще далеко от их собственной жизни. Все это волнует, как чужая тайна, но еще не вызывает желания отдернуть занавес и приблизить страшный и острый момент...

Если в шумной компании заговорят об этом другие, Андрей и Костя почему-то считают себя обязанными поддерживать разговор в лукаво-развязном тоне. На анекдот отвечают анекдотом, на намек — намеком. Краснея, повествуют о таинственных встречах, о пожатиях руки на балу и даже о более откровенных ласках каких-то неведомых женщин. Язык и воображение внезапно разыгрываются, наступает какое-то пьяное похмелье, пока не порвется что-то внутри... Но потом долго бывает стыдно и неловко перед собой.

Кто-то принес в класс фотографию цирковой артистки Пушкиревной, будто бы состоявшей в связи с классным наставником Горянским. Карточку рассматривали всем классом. Нагая женщина, соблазнительно

завернувшаяся в газовый шарф, сидела в кресле. Мальчики неестественно громко дышали. Рождалась какая-то новая, неожиданная зависть к педагогу. Цирк уехал из города, но наездница не была забыта. Ее именем украшали классную доску перед уроками Горянского, сочиняли на ее фамилию ребусы и шарады.

А Саня? Ничего общего с этими мыслями. У нее такие нежные, узкие руки. А конец косы ужасно хочется потрогать. Но лучше всего думать об этом засыпая и никому ничего не говорить. . .

В классе есть несколько великовозрастных гимназистов, которые вслух говорят о своих связях. Они любят щелкать в уборной металлическим портсигаром и показывают карточки девиц с такими богатыми прическами, каких не бывает в жизни, уверяя, что это и есть их возлюбленные. Менчик уже лечился от какой-то болезни и всем по секрету рассказывал, как мучительна процедура лечения. . .

С появлением девушек инициативная группа немедленно перешла к играм и танцам под рояль.

Летучая почта принесла Андрею две волнующие записки, намекавшие на глубокую симпатию и «может быть, даже больше». Костя Ливанов получил весть о чем-то «отсутствующем, но равнодушном сердце».

Друзья обсудили и вынесли вердикт: девчонки дурят. Но ведь записка могла быть и от Сани. Почта сделала свое дело. Остался легкий дурман, и долго не спалось в эту ночь.

Книги «о порядках» отошли в сторону, и, когда Берштейн предложил чаще устраивать такие веселые вечеринки, все захлопали в ладоши, и только Якубович процедил сквозь зубы:

— В революции женщине нет места.

— А Перовская? — вскрикнул Ливанов.

— Иду спать, -- презрительно закончил Якубович и ушел, не дожидаясь товарищей.

А там потекли дни, наполненные своеобразной сутолокой гимназической жизни, уроками, хождением в церковь, на каток, в гости. Прошли святки, а затем подошла весна.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Церковь Святой Троицы стоит особняком на высоком мысу, показывая всему горбатовскому приднепровью резную ограду, высокие белые стены и зеленые крыши шатровых глав. От города к церкви ведет пыльная, замощенная булыжником дорога, а у самой ограды вправо и влево круто бегут вниз овражистые, развороченные перелюкы, по которым весной шумят потоки, а зимой лежат саженные сугробы.

Борта у церковного холма ровные, словно кто-то ножом срезал курган с трех сторон и укрепил дерном крутые, нарочитые обрывы. Внизу кольцом — терн, репейник. Это чтоб никому не повадно было лазить по церковным обрывам. Нижний забор едва поспевает за поворотами и ухабами оврага, он пропнил, позеленел и покосился под тяжестью навалившихся на него зеленой бузины, боярышника и персидской сирени.

Есть предание, что была здесь прежде казацкая крепость. И правда, если представить себе вместо ведущей из города дороги подъемный мост, то мыс станет холмом-одиночкой, и в воображении на месте зеленой ограды без труда поднимутся над рвами бревенчатые частоколы старинной крепостцы.

Говорят, здесь-то и защищался знаменитый Гонта, тот самый гайдамацкий сотник, которому за бунт против магнатов сначала отрезали руку, потом ногу, потом другую руку и другую ногу, а потом сняли кожу со спины и только через шесть недель обезглавили,

Переулки-овраги с обеих сторон поросли покосившимися хибарками без дворов, без заборов. К иным хибаркам пристроены низкие строения — сарайчики, свинарни, курятники. Окна глядят здесь чернотой запыленных, не раз треснувших и заклеенных бумагой стекол. Косые завалинки ушли у порогов в землю. Двери не в ладах с деревянными рамами. На глиняных облупившихся стенах — надписи, сделанные синим и красным карандашом. Крыши здесь дырявые, проржавелые, а собаки волохатей и злей, чем во всем городе. Должно быть, от голода.

Здесь живет городская нищета, преимущественно евреи. От голых мусорных задворков в нос бьет запах гнилых отбросов и перепрелого тряпья. Дети в куцах штанишках, без рубах копаются в подозрительных кучах, играют с облезлыми собаками, катаются верхом на непомерно длинноногих свиньях. То и дело открываются двери, и усталые простоволосые женщины выносят на улицу ведра с мыльной водой и помоями, бредут за водой к ближайшему колодцу или в свинарник, чтобы засыпать свиньям жмыхи.

Зимой на снегу зеленеют смылины, краснеет, желтеет шелуха вялых овощей, а по дну оврага с утра до вечера носятся сопливые мальчата, каждый на одном коньке. Народ отчаянной и неувядающей жизнерадостности.

В домах лучше живут сапожники, портные, шорники и слесари. Звуки молотка и напильника от зари до зари оглашают лабиринт косых и кривых переулков.

Гимназисты проходят мимо этих приютов бедноты торопливым, деловым шагом. Было бы очень страшно, если бы у них завелись какие-нибудь связи с этим кварталом. . . Здесь нечего делать детям местных чиновников, капиталистов, адвокатов, врачей и помещиков. Их семьи живут наверху, в просторных домиках, окру-

женных цветниками, обсаженных яблонями и шелковицами, с натертыми до блеска полами и серебристыми, вымытыми стеклами окон.

Только Миша Гайсинский, ученик пятого класса Первой министерской гимназии, живет здесь в домике с вывеской:

**ВАРШАВСКИЙ ПОРТНОЙ**

**С. М. ГАЙСИНСКИЙ**

Гимназисты знают, что Миша Гайсинский попал в гимназию потому, что выдержал экзамен на все пятерки. На жирные, уверенные пятерки с точкой. Еврейская пятерка в черте оседлости — это особая пятерка. Это когда не подкопаться. . .

Но гимназисты не знают другого — сколько унижения стоило поступление сына в гимназию старику-отцу и как дешево обошлись кое-кому нарядный синий вицмундир с золотыми пуговицами и черный, ниже колен, сюртук с атласными отворотами. . .

Старый Гайсинский сидит на столе с поджатыми ногами, по-портняцки и, оттопырив нижнюю губу, мурлычит себе под нос какой-то ему одному известный мотив, прерывая мурлыканье только для того, чтобы откусить толстую черную нитку, а потом вдруг поднимет голову и говорит сыну:

— Учись, паршивец, на круглых пятерках. Если получишь хоть одну четверку, лучше не приходи домой. Я из тебя хочу человека сделать. Чтобы ты был адвокатом, а не сапожником.

— Подумаешь, счастье — адвокат! — возражает Рахиль, сестра Миши, которой так и не удалось поступить в гимназию и которая каждый год совершает великий подвиг настойчивости, сдавая экзамены экстерном. — Вон Смелянский — адвокат, а у них кушать нечего. Подумаешь — тоже счастье!

— А кто знает, есть ли у Смелянского диплом? Он —

подпольный адвокат, не настоящий, — возражает отец. — Миша кончит университет и будет настоящим адвокатом. Он будет, как Поступальский. Ты видела, какой дом у Поступальского? Банк ему дает двадцать две тысячи под залог. Если банк дает, то он знает. . .

— А я так вовсе не мечтаю быть адвокатом, — задумчиво говорит Миша. — Я бы лучше был архитектором. Я бы построил такой же большой и красивый дом, как новая женская гимназия, и, может быть, еще красивее. Перед домом я бы поставил фонтан, а на доме устроил бы башню, и на башне высоко горел бы огонь целую ночь. Это было бы очень красиво. Огонь в темноте, высоко-высоко. . .

— Какой дурак строит теперь дома с башнями? Кто тебе даст денег на такой дом? Если хочешь, так будь архитектором. Я не знаю, как платят за это. . . А только я всегда хотел, чтобы ты был адвокатом. Настоящим, а не подпольным адвокатом.

— А если я стану портным или рабочим? — спрашивает внезапно Миша.

— Что ты, с ума сошел!? Идиёт! — кричит старик Гайсинский. — Ты думаешь, я тебя для этого в гимназии держу? Ты думаешь, что это так приятно ломать спину с утра до поздней ночи над чужими штанами?

— А ты думаешь, отец, что это так просто кончить гимназию и попасть в высшую школу? Там уже и пятерки не помогут.

— Ничего, самое трудное попасть в гимназию, а там дальше, как бог даст. Воя Израилевич уже попал в университет.

— А сколько не попало, ты считал, отец? — усмехнулся Миша. — Ну, я пойду.

— Куда ты идешь, когда уже на дворе ночь? — мирно ворчит отец.

— Куда? Ты не знаешь? Все туда же, к Монастырским.

— Что ты там нашел? Ты каждый день туда ходишь.  
— Он ухаживает за Раей, — усмехнулась Рахиль. — Ему уже нужна невеста.

— Ты — дура! — вспыхнул Миша. — Это тебе нужен жених.  
— Маша, открой, там стучат, — перебил отец. — Это наверное господин Цыпкин за жилеткой.

Но в дверь вошел Андрей.

— Это ты, Андрей? — удивился Миша. — Я очень рад тебе... Я не ожидал.

— Ты уходишь, Миша?

— Я хотел пойти к знакомому... Но это ничего. Я могу остаться. Как ты меня нашел?

— А помнишь, ты в прошлом году показал мне свой дом, когда мы возвращались с Днепра. Помнишь, мы ходили купаться почти всем классом?

— Ах, да, да, верно. Ты еще спросил, почему «варшавский портной», был ли мой отец в Варшаве. Отец, ты был в Варшаве?

— Здравствуйте, молодой человек. Никогда я не был в Варшаве. Я не был даже в Киеве. До Киева билет стоит четыре с полтиной. А «варшавский портной» — это привлекает заказчика.

— Я к тебе на минуту, Миша. Я все-таки хотел поговорить о кружке. Знаешь что? Давай, пойдем вместе в город. По дороге поговорим.

— Как хочешь, — сказал Миша. — А то останемся здесь. Будем пить чай.

— Ну, какой наш чай? — отозвался вдруг отец. — Твой товарищ наверное привык пить чай с вареньем или там с цукатами. И не такой чай. Я знаю?

Миша недовольно поморщился.

— Подумаешь, а какой же он чай пьет? Чай, как чай. Давайте пить чай! — Он снял фуражку и положил ее на рабочий стол отца.

— Но ты же, Миша, куда-то шел? — остановил его Ан-

дрей. — Скоро шесть. Нам шельзя будет ходить по улицам. Пойдем сейчас и поговорим.

— Ну, пойдем! — согласился Миша и опять взял фуражку.

Весеннее небо падало от горы к Днепру. За рекою белошерстым стадом шли облака. По дороге, стуча окочеванными колесами разбитых дрожек, ехал извозчик. Лошадь, нагнув голову, с трудом тащилась в гору, мягко ступая в глубокую пыль.

— Ты знаешь, Миша, из нашего кружка ничего не выходит... Книг у нас нет.

— Какие книги?

— Дело, конечно, не в книгах, но и без книг ведь нельзя. Мы решили спросить тебя, не знаешь ли ты, где достать книги... Мы бы купили...

— А вы, собственно, чем хотите заниматься?

— Изучать политические вопросы. Ну, какие порядки существуют в других странах. Почитать правильные вещи о наших порядках.

— А-а, — разочарованно протянул Миша. — Так возьми учебник седьмого класса по законоведению об европейских конституциях, да и читай. Разве для этого надо заводить секретный кружок?

— Миша, я тебе даю честное слово... Никому не проболтаюсь, даже товарищам... Ты знаешь такие кружки, где занимаются политикой? Ты можешь меня свести туда? Я готов на какие угодно условия.

— Знаешь, Андрей, я одного не понимаю, — зачем тебе нужна политика? Ты — русский дворянин. Ты кончишь гимназию, потом университет. Будешь чиновником. Зачем тебе политика?

— А кому же тогда нужна политика? — спросил Андрей и посмотрел на Мишу с удивлением. — Разве дворяне не занимаются политикой? Например, министры...

— Ну, министры это совсем другое... Ты же еще не министр... А из простых людей, из бедняков политика

нужна только тем, кому очень плохо живется и кто хочет бороться за лучшую жизнь.

Андрей задумался.

— Не знаю, — сказал он наконец, — может быть это и так. Но мне очень хочется знать в чем дело. Я чувствую, что живем мы не так, как надо. Даже у нас в гимназии... Я читал, что в американских школах совсем не так. Там всему обучают наглядно. Водят на экскурсии, устраивают физические и биологические кабинеты. А у нас с тоски издохнешь.

— Я не знал, что ты так думаешь, — сказал Миша. — Я вполне с тобою согласен. Только это еще далеко не все. Я за границей не был, но я думаю, что и там портному живется немногим лучше, чем моему отцу. Нужно сначала узнать, как живут люди. Нужно понять, как живется бедным и как богатым. И почему есть богатые и бедные... — Миша замолчал и осмотрелся кругом. Андрей осторожно следил за товарищем. — В настоящих кружках, — решил наконец Миша, — изучают Карла Маркса. Только это не легкая книжка...

— А ты бываешь в настоящих кружках? — обрадовался Андрей.

Миша молчал.

— Ты не бойся, скажи. Я тебе даю честное слово, никто не узнает, — настаивал Андрей.

Миша смотрел теперь в сторону на дорогу, где наезженные колеи широко разбежались по мягким россыпям посеревшей в сумерки пыли.

— Ты не сердись, Андрей. Я тебе ничего не скажу... Если бы я действительно участвовал в таком кружке, — сказал он, подумав, — разве бы я посмел рассказать об этом? Ты знаешь, что бывает за участие в кружках? Ты знаешь, какое теперь время?

Мальчики остановились на середине дороги.

— Помнишь, год назад, — продолжал Миша, — разве в

гимназии говорили о политике? А теперь, кажется, даже кишата<sup>1</sup> рассуждают на политические темы. Это все наделала война. Сейчас все думают о том, почему у нас так плохо живется, почему наша страна такая плохая. Раньше многие этого не замечали. А теперь, когда нас бьет каждый, кому не лень. . .

— Ну, ты скажешь, — вскинулся Андрей, — каждый, кому не лень! Японцы разбили и то не совсем. . . И то потому, что далеко и только одна железная дорога. . .

— Вот видишь, ты уже и загорелся, Андрей, даже покраснел. Те, кто ходит на кружки, те рады, что войска русского царя разбиты, а ты. . .

— Как же я, русский, могу радоваться нашему поражению? — пылко выкрикнул Андрей.

— Знаешь, я думаю, что тебе нечего делать на социал-демократических кружках, — сухо сказал Миша.

— На такие, где радуются нашему поражению, я и не пойду, — заявил Андрей.

Гимназисты холодно попрощались и разошлись.

Андрей чувствует себя оскорбленным в лучших чувствах. Он идет, не замечая никого, не замечая, что пальцами легкомысленно играет по переплету решетки генеральского сада.

— Берегись, а то задавлю! — раздается над ухом Андрея, и мягкая, пахучая громада придавила его к крашеной ограде.

— Чорт! — выругался Андрей.

В саду раздается девичий смех. Это, конечно, смеется генеральская внучка, Лиза Кочарникова, егоза и насмешница. Об этом инциденте узнают все гимназистки.

Андрей обозлился. А тут еще куча сена ползет сверху и сваливает с его головы фуражку. Фуражка валется в пыли, а из-под зеленой массы, аршинным гор-

---

<sup>1</sup> Презрительное название учеников подготовительного класса.

бом вставшей над грязным плечом, выглянуло потное, веселое лицо Петьки Стеценко.

— Идешь — киснешь. Жалко стало, развеселить решил.

— Дурацкие шутки! Теперь вот итти чиститься. — Андрей щелчками сбивает пыль с синего сукна щегольской фуражки, пальцами снимает сухую порохню с плеча и рукавов. — Ты куда прешь, верзила?

— Домой, конечно, не в гости же с вязкой сена.

— А почему не на лошади?

— А батько их высокоблагородие, вашего папашу, катает, или на станции. Пассажира ловит.

— И ты вот так через весь город?

— Каждый день на этом самом месте, об эту самую пору не с сеном, так с овсом, а то и с дровами. Назначая свидание. Генеральскую внучку иногда дразню. На забор сено выброшу, намусорю, а барышня злится.

Раздражение еще не ушло. Если б еще не у генеральского сада. Голубое платьице опять показывается и исчезает за кустами.

— Чего ты радуешься?

— Привычка.

Петр хоть кого выведет из терпения своей манерой.

— Плохая привычка. Перемени.

— А вот скоро перемену. На завод иду, на сахарный. Мастер берет. — Лицо Петра вытягивается.

— А ты доволен?

— Конечно, доволен. А только трудно там... С утра до вечера.

— А что делать?

— А что дадут.

Оба молчат.

— А книжки новые у тебя есть? — спрашивает Петька.

— Есть, приходи. Ну, мне налево.

— Завтра я подаю, вынеси книжки.

— Ладно.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мише Гайсинскому трудно было ответить Андрею. Миша и сам не знал, участвует ли он в «таком» кружке, или нет. . .

Его двоюродный брат, Яша Монастырский, был сыном мелкого подпольного адвоката. Лавируя, как парусный бот в бурю, между законом и его служителями, старик Монастырский уже много лет жил на одной из лучших улиц города в деревянном доме со стеклянной галереей и занимал квартиру в три комнаты.

Семья у Монастырского была немалая. Яша, старший сын, два года назад сдал экзамен на аттестат зрелости экстерном и теперь учился в Киевском университете на математическом факультете. Его заветной, упрямой мечтой было стать инженером, жить, работать и мыслить в мире пахнущих потом электричества машин и проводов. Но ни прекрасный аттестат, ни выдающиеся способности не давали ему надежды на поступление в высшее учебное заведение в столице, куда евреи принимались в самом незначительном проценте.

Яша Монастырский решил, что ему легче будет попасть в электротехнический институт, окончив математический факультет. Университетский диплом должен был стать трамплином перед решительным скачком. Приходилось терять в общем счете два с лишним года, — но что поделаешь?! Надо было расплачиваться за то, что родился евреем, да еще в царской России.

Кроме Яши, у Монастырского было еще три сына. Только один из них попал в гимназию после трех катастрофических провалов на экзаменах. С тех пор он дни и ночи сидел над книгами, боясь, как бы не завелись в четвертях тройки или четверки. Погоня за пятерками по всем предметам, и любимым и нелюбимым, подлинная война, мелкая, неусыпная, с педагогами, которых раздражало это испуганное упорство, сделала его худым и бледным мальчиком, интересующимся только учебниками. Он даже не пытался отдыхать за беллетристикой. Не заразился он и любовью к марксовым убористым томикам и отпечатанным в неведомой типографии брошюрам, которые в изобилии водились у его старшего брата Якова. Он изощрял только память, работая, как цирковой артист, который ищет совершенства в меткости или ловкости рук, пренебрегая всем прочим ради исключительного эффекта своего коронного номера.

Двое младших считались в семье неудачниками. Один приютился на краю стола у местного часового мастера, другой, баловень матери, не работал нигде, и отец мечтал передать ему со временем свою неблагодарную, неверную профессию подпольного адвоката.

Из трех дочерей Монастырского — две были в гимназии, одна, больная туберкулезом, сидела дома, помогала по хозяйству и училась шить у соседки-белошвейки.

Яков часто наезжал в Горбатов из Кисва. К нему охотно стекались знакомые юноши, товарищи его братьев, и беседа неизменно начиналась и кончалась обсуждением каких-нибудь политических тем. Сам Яков иногда осторожно намекал на то, что в Киеве он «связался с организацией», но на всякие дальнейшие расспросы отвечал уклончиво.

Политические события этих лет — русско-японская война, стачка, забастовки, крестьянские и студенческие волнения — расшевелили самых тупых и ленивых. В го-

родах, даже в самых маленьких, появились подпольные кружки. Даже в гостиных уездных чиновников и рантьеров, где прежде говорили только о вареньях, соленьях, рыбной ловле, об успехах и неудачах начальства и изменах жен, стали поговаривать о причинах неудач на фронте, и считалось хорошим тоном слегка порутать порядки.

Желающих попасть в дом Монастырских, где есть студент, по слухам связанный с организацией, было множество. Среди них был и Миша Гайсинский.

Яков охотно вступал в беседы с гимназистом, но, когда студенты и взрослые начинали бурные политические споры, Мишу просили идти к тете Фанни, матери Монастырских, пить чай. В длинной галерее с разбитыми стеклами, подгнившим переплетом окон и облупившейся краской дощатых стен, за круглым столом сидели обычно две младшие девушки, Рая и Роза Монастырские, и узкоплечая, сморщенная старушка, тетя Фанни. Миша, забыв положить сахар, рассеянно мешал ложечкой в стакане и все прислушивался, не долетят ли какие-нибудь разговоры из комнаты молодых Монастырских. Иногда быстрые, возбужденные слова долетали до веранды — это означало, что спор принял оживленный характер.

Слышались реплики:

— Это меньшевистские позиции...

— Ты ничего не понимаешь...

— У Энгельса говорится...

Шум затихал — беседа опять продолжалась вполголоса. Если же голоса сметались в бурном вихре выкриков и шум перерастал обычные пределы, старик Монастырский, бросив недопитый стакан чая, шел к молодежи. И было слышно, как он громко вышептывал, стоя в дверях: — Что вы устроили базар?.. Вы хотите, чтобы я вас разогнал? Ты, Яков, добьешься, что меня вышлют... А Давида и девочек выгонят из гимназии.

— Папа, вы правы, — раздавался спокойный голос Якова. — Но что я могу сделать, — страсти разгораются. Мы обещаем сдерживаться...

Монастырский с сердцем хлопал дверью и уходил, бурча под нос какие-то слова на жаргоне. В нем боролись два чрезвычайно сильных чувства: страх за благополучие семьи и сочувствие идеям старшего сына, такого умного и такого начитанного.

Миша был настойчив, и, наконец, ему разрешили остаться на беседе. Это было первое заседание настоящего социал-демократического кружка, на котором Яша объяснял, кто такие социал-демократы и за что они борются.

Гимназист притаился в дальнем углу и слушал, не проронив ни слова.

Но на вторую беседу его уже не пустили. Старик Монастырский запротестовал со всей решительностью: — Куда такому сморкачу заниматься политикой? — говорил он Якову. — Дай ему спокойно учиться. Это сейчас для него самая главная политика.

Но Миша упорно приходил в дом тети Фанни, сестры его матери, в дни, когда товарищи Якова собирались для беседы. Он сидел на веранде и медленно тянул холодный чай, с нетерпением ожидая момента, когда окончится беседа, и Яков и Давид с двумя-тремя товарищами придут на веранду. Он знал, что и здесь будут продолжаться те же разговоры, что и на кружке, потому что и Яков и его товарищи всегда говорили только о политике, словно ничего иного, достойного их внимания, на свете не существовало.

В среде товарищей по гимназии Миша считался политически развитым. Он знал, кто такие социал-демократы и за что они борются. Он читал брошюры, он слышал о Марксе и Энгельсе. И, когда на его глазах в бедных еврейских домиках у подножья высоко вознесенной церкви Святой Троицы плели свое грубое кружево

нищета и грязь, он все это связывал с рассказами Якова об обществе и классах, и эти слова вставали перед ним рядами бледных, измученных людей в лалсердаках, пиджаках и синих косоворотках.

В классе Гайсинский держался одиноко. Товарищи охотно списывали у него решения задач и сочинения по русскому языку, находу дружески хлопали его по плечу. Но и дружба и внимание эти дешево стоили. Это понимал даже мальчик, у которого небольшой жизненный опыт еще не отнял доверчивости... Зато Салтан, сын местного исправника, Козьявка, Казацкий при встречах не прочь были грубо толкнуть его и бросить вслед злобным шопотом слово: жид.

Это слово звоном колокольным тудело в ушах у Миши и гнало кровь к лицу, к вискам. Иногда Мише казалось, что в глазах товарищей стоят эти три буквы и вот-вот выжгут клеймо на его плечах и на лбу.

Однажды в классе на уроке инспектора Гайсинский открыто заявил, что Козьявка назвал его жидом. Инспектор, дергая толстыми пальцами клочковатую бороду, закричал на Козьявку и заявил, что не допустит подобных оскорблений; что «жидов» нет, а есть «евреи». Водовоз оставил Козьявку на час без обеда, но отсидеть ему велено было во вторник, в день, когда бывало не пять, а четыре урока.

Козьявка тут же пригрозил Мише кулаком, а после занятий на Мишу налетели товарищи Савицкого. Теперь слово «жид» громко склонялось на все лады.

Миша стоял, прислонившись к печке, и взглядом открытых широко глаз встречал ругань товарищей. Казалось, он не слышит слов и ждет удара...

На этот раз даже Андрей и Ашанин слабо защищали Мишу.

— Ты, конечно, прав, — сказал ему после урока Ливанов, — но зачем ты наябедничал?

— Что же я должен был делать? — спросил Миша.

— Не знаю, но ябедничать нельзя.

— А ты научи, что делать.

— Ну, обратился бы к нам. Мы бы заставили Козявку извиниться.

— Посмотрел бы я, как бы это вы заставили, — заревел из угла Козявка. — Я бы из вас мокрое место сделал.

— Чистое дело, марш! — лихо выкрикнул Матвеев.

Миша отодвинул рукой стоявшего перед ним Ливанова и, не глядя ни на кого, прошел в коридор.

Товарищей заменяла Мише книга.

Хорошая книга редко давалась в руки. На абонемент в библиотеку не было денег. Просить у товарищей Миша не репался, боясь отказа. У Монастырских все было перечитано.

В молитвенном зале гимназии стоял полуразвалившийся черный шкаф, с затрепанными книжонками. По средам и пятницам ленивый, задыхающийся от астмы Горянский выдавал желающим по две книги, стремясь поскорее закончить эту досадную обязанность.

В коридорах у стен стояли тяжелые шкафы, набитые фолиантами и переплетенными в коленкор томами. Но это была фундаментальная библиотека, и из нее книг гимназистам не выдавали. Миша не видел даже, чтобы кто-нибудь заглядывал в эти шкафы. Только однажды все шкафы были открыты, и книжные богатства выглянули на свет. Это шла перепись гимназического инвентаря...

В черном шкафу Миша имел обыкновение рыться часами, раздражая Горянского. Здесь были патриотические и героические повестушки, географические наивные и назойливые брошюры, истрепанные Буссенары, Жюль Верны и Каразины. В тяжелых переплетах таились легковесные тетрадки «Задушевного Слова»,

«Светлячка», «Тропинки», «Детского Мира» и прочей смачавой белиберды, в которой все было Мише чуждо и неинтересно, как в чужом саду, где шагу нельзя ступить свободно.

Случайно набредя на любопытную книгу, Миша уходил с нею из дому на пустынную отмель Днепра и там, сидя на песке или на перевернутой лодке, зачитывался до сумерек.

Больше всего любил он книги, в которых сильный человек долго борется с нуждой и неудачами, пока не придет неожиданный, но заслуженный успех. Миша закрывал книгу удовлетворенный, и жизнь на время казалась не такой уж тяжелой и неприветливой. . .

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Усадьбы исправника Салтана и богача Корнея Черного глядели фасадами на разные улицы, но прислонились спиной друг к другу. Длинный исправничий коровник с крутыми скатами крыши и замшелый наклонившийся забор разделяли два зеленых острова, два буйно разросшихся сада.

Дом Салтана выходил в переулок Святой Троицы. Шестью спокойными окнами на сиреневой стене он отражал ковровую путаницу стволов и листьев зеленокожих, пышно разросшихся лил.

На широкой скамье перед домом, зажмурившись от солнца, сидел рыжебородый городской Гончаренко. Он неизменно утром и вечером плевался семечками, которые поставляли ему бабы-торговки, расположившиеся у церкви с бубликами, конфетами, маковниками и сусальными пряниками. Истребив все семечки, он вытряхивал карманы и опять шел к торговкам. Благодушно хихикал, принимая дань, и при этом щипал баб за пухлые плечи и эфесом пашки заезжал в самые непоказанные места.

Дом Черного выходил на одну из главных улиц города, на которой стояла Первая министерская. Черный строил особняк с нескрываемым намерением затмить всех соперников. Одноэтажный дом из желтого кирпича, с большими зеркальными окнами, был обнесен высокой оградой с чугунной решеткой. На крайних столбах ограды стояли большие вазы из серой глины, в которых так и

позабыли посадить цветы. По высокой стене особняка зелено стлался виноград, а все пространство между оградой и кирпичной стеной дома было занято клумбами с цветами. По вечерам городские мальчишки, рискуя оставить половину несложного наряда на остриях решетки, лазили в полисадник в погоне за желтыми и белыми розами (пятнадцать копеек бутон у любителя) — и за славой.

Комнаты были высокие, дворцовые. Потолки отделаны дубом, орехом или свисали тяжелыми опухолями лепных карнизов. Сверкая гроздьями хрустальных подвесок, пыжились тяжеловесные люстры, мохнатые портьеры строились у окон и дверей в прямые, ровные складки.

Мебель плохо подходила к дворцовому размаху самой постройки. Похоже было на то, что люди, живущие в доме, не знали, что им делать с этим огромным количеством комнат. Казалось, дом еще ждет настоящих хозяев, а эти только временные, только гости. . .

Старик Черный — лысый, сухой, но юркий, с маленьким бескровным и всегда хитро улыбающимся лицом. Говорили, что его улыбка сулит мало хорошего.

Расхаживая по комнатам дома в часы зимнего затишья, Черный любит нравоучительно поговорить с сыновьями.

— От трясця его мами будынок збудували! Як цари, сукины диты, живете. А це я один всего добився. . .

Быстротой и ловкостью, с которой ему удалось сколотить состояние, он очень гордился. Гордился не изменявшим ему везеньем, гордился «легкой рукой».

Каждую весну на горбатовском вокзале собирались грабари из всех ближних и дальних деревень. Пропахшие махоркой, в черно-коричневых свитках, бараньих шалках, кованых чоботах, с грязными торбами на плечах, они усаживались на пол во всех проходах вокзала,

выливались на изгрызанное временем крыльцо, на пыльные подъезды, в станционный садик. В мешках гремел «струмент» и таились завернутые в холстинки сочные луковицы, клочья проросшего сала, черные, как земля Украины, караван хлеба и пахучий кисет с тютюном.

Хозяева, имеющие лошадь и грабарку, работавшие десятниками, брели к дому Черных, где им подносили стакан водки с селедочной закуской, и вели долгие, но всегда предрешенные переговоры.

По сигналу сухонького старичка землекопы осаждали кассу, потоками заполняли вагоны и целые составы и катили на юг, на восток, на север, в Сибирь, в Туркестан, в Криворожье ровнять лопатой мягкие холмы, рвать динамитом крутые скалы, засыпать озера и болота, возводя насыпи новых и новых железнодорожных путей.

Грабари-подрядчики получали сказочный процент. Они по-царски были щедры на водку, не прочь были устроить, где надо, дым коромыслом. Но, видно, на все хватало жирного пирога построечных смет, — подрядчики богатели, выходили в миллионеры, ставили пудовые свечи, делали вклады в монастыри и соборы, наказывая понам молиться, чтоб не снесла работу весенняя вода, чтоб до сдачи казне устояли пухлые насыпи, шаткие мосты, чтоб не попутал нечистый, чтоб из-за нерасчетливой жадности не попасть под суд.

Говорили, что насыпи, воздвигнутые Черным, были не крепче других, и мосты не тверже стояли на бетонных, скупо рассчитанных ногах, но Черному везло, — дефекты обнаруживались после сдачи, а репутация укреплялась не добросовестными работами, а новыми, умело распределенными взятками, что было неизмеримо дешевле.

Наживались и кулаки-десятники, а грабари-крестьяне привозили домой болотную болезнь — ревматизм и сотню карбованцев на семейство...

Уже дети подрядчиков стремились обзавестись ин-

тelligentной профессией, к богатству относились как к чему-то законному и естественному.

Володька Черный, младший сын богача, одноклассник Андрея, был влюблен в свой сад. Ни у кого в городе не было такого сада.

Когда-то бежал здесь овраг, извилистый и запутанный, бежал несколькими рукавами туда же, куда и все городские овраги — к берегу Днепра.

Еще и теперь по весне из всех окрестных дворов и садов, пробиваясь под заборами, кувыряясь по узким сточным канавам, мутными потоками мчатся внешние воды в сад Черных. В один-два дня набухают здесь озера, а у самого Салтановского коровника по широкой канаве пенится, пузырится, бьет многопудовыми тяжестями вод настоящая весенняя река.

Черному понравилось это место, и он решил, наперекор стихии, разбить здесь сад.

Для весенних вод проложили бетонные русла, вырыли небольшой пруд-водоем. Над местами, где по весне лойдут потоки, перекинули горбатые мостики, крашенные в зеленый цвет, искусственно подняли дорожки, насадили рядами яблонь, груш, слив, кустов крыжовника, малины, смородины, и через несколько лет шапки садовых деревьев сдвинулись и слились в зеленый пахучий остров.

У Салтана сад поменьше и попроще. Здесь без всяких причуд стоят на усыпанных гравием скучных дорожках скамьи с изогнутыми спинками, и в летний жаркий день то и дело стучат о землю яблоки и груши Салтановских деревьев.

В вечерние часы, в особенности в воскресенье, зоркий глаз нередко сторожит с крыши коровника затишье Володькиного сада.

Это глаз часового.

Между Салтановской усадьбой и усадьбой Черных второй год война.

В гимназии дружба не крепче паутины — сегодня друзья, завтра врозь, но салтановская армия держится дружно уже полтора года. Измена не заляпнула салтановские знамена.

На дни воскресных сражений приезжает к Салтану Козьявка, — вождь и тяжелая артиллерия отряда. Он здоров драться, с ним можно надеяться на победу.

Вторым украшением армии является Антон Савичев, шестиклассник, сын эконома одного из графских имений в уезде. Его длинные ноги способны на чудовищные прыжки. Он ловок и хорошо тренирован. Во время лихих набегов он всегда идет впереди. Впрочем, во время отступлений — он тоже первый.

Затем идут три брата Салтана: пятиклассник Олег и два близнеца Борис и Глеб — оба четвероклассники. Молодые Салтаны — это разведчики и застрельщики всех боев. Они уступают товарищам в силе, но не имеют себе равных в дерзости и отваге.

К салтановской армии принадлежат еще два ленивые брата Карельские, которые втянулись в бои и игры только потому, что живут напротив; музыкант Казацкий, который производит много шума и умело уклоняется от опасных стычек, и, наконец, в качестве кавалерии — «гусар» Матвеев.

Володька Черный отличается и лихостью, и незаурядной силой, но организационных талантов не имеет. К нему охотно стекаются товарищи поиграть в крокет, полакомиться ягодами и фруктами из сада. Он принимает всех с ленивым, чуть пренебрежительным добродушием, кормит конфетами и пастилой, но крепким товарищеским духом его друзья не спаяны, и потому армия его нередко терпела поражения, а земли Володькины подвергались нападениям врагов чаще, чем сад и двор Салтанов.

Иногда приходили к Володьке Андрей и Ливанов.

Они принимали участие в «кровопролитных боях» не столько из любви к Володьке, сколько из неприязни к салтановской компании, к заносчивому хвостуну Козявке и пшотоватым «гусарам» Матвееву и Казацкому.

Самые яркие бои разгорались в те дни, когда отец Салтанов, широкоплечий, упитанный мужик, в полицейском мундире, с огромными усами, пучистой бородой, косматыми бровями, нависшими над пронзительными черными глазками, гроза городских, пьяниц и мелких торговцев, лихой собутыльник и взяточник, — отпра-влялся на несколько дней в уезд.

На вооружении у салтановской армии — два монте-кристо с холостыми патронами, самодельный пугач, старая сабля, подаренная старшим городовым, четыре длинные пики с коваными наконечниками, два лука-арба-лета и обильные запасы гнилых яблок и снежков.

У Володьки оружия больше, но он неохотно дает товарищам не самодельные, но привезенные из Киева ин-дийские луки, пистолеты и сабли.

В последнее воскресенье перед вербным Андрей, Ва-силий, Ливанов и Ашанин зашли к Володьке Черному сразу после церкви. Володька сообщил друзьям, что по его заказу плотники поставили на чистом дворе новые гигантские шаги.

Шаги, действительно, сварганили на славу. Высокий, только что обтесанный столб еще слезился прозрачными капельками, а ремни, которыми заканчивались четыре корабельных каната, топорщились несмятой желтизной, без пятен и царапин.

Котельников, никогда не видевший гигантских шагов, сначала возбуждал смех товарищей. Он неуклюже под-прыгивал, не во-время забегал, подметал штанами пло-щадку, не умел «залетать птицей», как это делали Андрей и Ливанов. Но уже через какие-нибудь четверть

часа он одолел несложное искусство и теперь взлетал выше других.

— Обжужим, — шепнул налету Володька и хитро подмигнул товарищам.

— А не жалко? — сказал вслух, уносясь в высоту, Ливанов.

— Ерунда. Смерти от этого не бывает, — продекламировал Андрей, делая налету сложный поворот.

— По команде! — крикнул Володька. — Раз, два три! Все трое встали на ноги и бросили ремни.

Предательский поступок товарищей остановил круг, бегущий по верхнему срезу столба, и Василий летит теперь не по своей воле. Он — как привесок на конце длинного бича. Удивленный, растерянный, он крепко хряснулся спиной о смолистый столб и, выпучив глаза, медленно пополз книзу.

Андрей, Володька и Ливанов со смехом разбежались во все стороны.

Василий снял через голову ремень, потрогал тыловой стороной руки ушибленное место, покачался на широко расставленных ногах и ринулся в погоню за предателями.

Андрей перемахнул через низкий забор в сад, Володька скрылся под защитой злого цепного пса Волка. Пес ощерил зубы и поднял шерсть.

Василий обозлился не на шутку и готов был пустить в ход все приемы деревенского бокса с любым из противников. Он махнул прямо через зеленую лужайку, через кусты малины наперерез Ливанову. Он забыл, что рискует новыми брюками. Он чувствовал, что уже нагоняет врага, как вдруг резкий удар в грудь заставил его остановиться. . .

В тот же момент остановился и Ливанов.

Гнилое яблоко густыми липкими брызгами обдало ему глаза, рот и, что самое главное, верхнюю часть чистенького мундирчика.

«Влетит от отца!» — первым делом подумал Ливанов. Боевой клич салтановской армии обнаружил врагов. Старший Салтан, Савичев и один из братьев Карельских открыли ураганный огонь. Казацкий сидел верхом на гребне коровника и делал шум. Молодые Салтаны, пренебрегая опасностью, грозившей не столько им, сколько их одежде, скатились по крыше и прыгнули в траву вражеского сада. Старший Карельский засел на полпути на скате крыши и оттуда пускал, не целясь, одну за другой длинные стрелы из тугого лука-арбалета.

Первый успех окрылил салтановцев. Они видели, как Ливанов утирал платком лицо и мундир и как растерянно оглядывался кругом, держась за ушибленную грудь, Котельников. С криком «ура» выкатились в сад старший Салтан, Антон и Карельский. Находу они с гиком бросались крепкими зелеными яблоками, которые били, как камни.

Володька Черный и Андрей спешили уже на помощь товарищам. Один Ашанин остался во дворе у гигантских шагов. Он никогда не чувствовал боевого азарта, никогда не рвался к гимназическим сражениям, и слава, осенявшая каждую приобретенную в бою шишку или кровоподтек, была совершенно недоступна его пониманию.

Андрей первый сцепился с налетевшим на него Антоном. Он с трудом удержался на ногах, и теперь оба противника давили друг друга, делая множество бесцельных усилий. А тут еще один из младших Салтанов прыгнул и повис на спине у Андрея.

Андрей задышался.

На Володьку навалились двое: старший Салтан и младший Карельский, оставивший на крыше арбалет и скользнувший вслед за Салтаном.

Младший Салтан и старший Карельский оказались противниками Василия. Салтан прыгнул сразбегу на

Котельникова и повис на его ноге. Карельский схватился с Василием за руки.

Упершись крепкими ногами в землю, Василий резко рванул противника, и Карельский покатился кубарем по траве, а Котельников, так и не освободившись от цепкого Салтана, с ним вместе мчался на помощь товарищам.

Его действия были жестоки и исполнены уверенной силы. Первым пал под его ударом старший Салтан. Падая, он ударился головой о ствол дерева и, лежа в траве, решил сделать вид, что ему дурно.

Ливанов освободил Андрея от одного из противников, а еще через секунду Василий схватил поперек туловища длинного Антона, и тот полетел в траву, пачкая зеленью серые брюки и локти щегольской куртки.

Тогда началось великое бегство салтановской армии. Разбитые шалетчики металась по саду, не зная, как избежать дальнейшего сражения.

Но Василий уже мчался к Фермопилам Салтановской усадьбы, к доске в заборе, которая свободно вращалась на верхнем гвозде.

У щели выстроились остатки разбитой армии.

— Пусти! — слезливо запищали Борис и Глеб, не рискуя подступить к Василию.

— Выдать оружие, все как есть! — скомандовал Володька: — тогда отпустим.

Салтановцы молчали. Это был бы неизгладимый позор навсегда.

Не стовариваясь, они ринулись в новый бой. Казацкий с коровника бомбардировал без разбора своих и врагов.

На этот раз бой был еще короче. Василий сдвинул старшего Салтана так, что тот заплакал.

Затем взмолил о пощаде Карельский.

Антон носился по саду, ища какого-нибудь другого выхода.

Возбужденный видом битвы, Волк метался у своей будки и лаял редко, хрипло и злобно.

Володька вдруг помчался к зеленому резному забору, на который прыгал привязанный огромный пес.

— Не надо! — резко крикнул Андрей.

— Не надо! Это безобразие, — кричал в иступлении Ашанин.

Но Володька Черный уже перебирался через забор. Пес присел, вздрагивая и натянув ржавую цепь.

Василий поймал Володьку за фалды мундирчика в тот момент, когда он уже занес ногу на другую сторону ограды.

— Не мешай! — злобно крикнул Черный. — У себя что хочу, то и делаю.

— Не будешь, — с упорством заявил Василий. — Слезай!

Володька слез, оправил на себе мундирчик и злыми глазами посмотрел на Василия.

— Ты уж очень задаешься, Васька! Я здесь хозяин, хочу — и на тебя выпущу Волка.

— Не выпустишь, потому что больше я к тебе не приду никогда. . .

В это время боевой клич армии Салтана раздался уже по ту сторону забора.

— Приедет Козявка, — кричал старший Салтан с коровника, — мы вам покажем. А Ваське Котельникову лучше не появляться на наших улицах.

Володька взбежал на крыльцо и крепко стукнул за собою тяжелой дубовой дверью с блестящим на солнце зеркальным стеклом.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Днепр становился магнитом для гимназистов уже начиная со второго или третьего класса. Не только «завзятые украинцы» во главе с Тымишом, у которого были настоящая бандура и полный Кобзарь, но и местные москали готовы были глаза выцарапать всякому, кто скажет, что в отрывке Гоголя «Чуден Днепр...» есть хоть одно слово неправды и что есть на свете такая птица, которая долетит до середины Днепра...

Стоило выглянуть в окно гимназического здания, и глаз встречал внизу, за зелеными квадратиками крыши, панораму голубой водной полосы, которая тканью узких и широких протоков врывается в зеленый ковер заливных лугов полтавского берега. И каждый из гимназистов знал, что внизу, у старого Еськи, стоит наготове десяток узконосых, быстрых на ходу лодок, на которых в пять минут можно перекинуться «на ту сторону», где песок мягче бархата и теплой ватного одеяла, где птицы поют в кустах красноватых лоз и старые рыбаки у костров варят вкусный кулеш с салом и рассказывают, а то и поют те же старинные украинские думки, что Гоголь когда-то подслушивал в Сорочинцах и Диканьке.

Лучше всего было отпрапляться на Днепр в воскресенье после церковной службы. Пустить призыв в самой церкви, — шопотом по рядам, — и компания сколачивалась в два счета.

Гимназисты производили ревизию карманов, собирали

гривенники и пятаки и набирали нужные сорок копеек за два часа.

Два часа огромного удовольствия! Днепр сейчас же подхватывает лодку могучей струей и гонит ее книзу, к парходным пристаням, где течение такое, что не справиться молодым, неокрепшим рукам гребцов. Нужно во что бы то ни стало сразу уйти под луговой полтавский берег, где можно грести почти без усилий, где лодка скользит в тени склонившихся над водой безлистных лоз, где каждая заводь зовет отдохнуть, помолчать, помечтать.

Иногда гимназисты, не дожидаясь воскресного дня, убегали на реку после занятий вместо того, чтобы дома учить уроки. Тогда старый Еська, который знал, что ему может влететь за выдачу лодок учащимся в неположенное время, сам отводил лодки в сторону за купальни, за могучие, пришедшие из Полесья, плоты. Гимназисты украдкой садились в лодки и изо всех сил спешили уйти на середину реки, где их уже не различит зоркий глаз педагога или надзирателя.

В воскресенье после обедни лодки брались наперебой. Гимназисты снимали, чтобы не перепачкать смолой и илом, длинные мундирчики, расстегивали воротники рубах, засучивали рукава, обнаруживая щуплые бицепсы, и шли наперегонки. Победа доставалась тем, кто успевал захватить немногочисленные, сколоченные из сухих еловых досок, полутригеры, с далеко вынесенными за борт ключинами.

Разве может широкобортый и неуклюжий дедовский баркас угнаться за таким челноком?! Но гребцы-победители приписывали успехи только своей силе и выдержке и потом в разговорах с товарищами и подругами гордились немало победами, одержанными на Днепре.

Сначала лодки шли группой, но Днепр слишком широк, слишком много у него затонов, рукавов, золотистых отмелей, — и лодки разбегаются во все стороны. Одни

едут купаться на песчаный остров, дерзко поставивший свою стрелку навстречу днепровской волне, другие забираются в лабиринт островов и протоков, утонувших в зелени луговых трав, третьи входят в Старик, обмелевшее прежнее русло реки. Старик вьется в лугах неглубоким каньоном. Наклонившиеся над ним деревья то и дело превращают его в темный коридор, таинственный, прохладный. Полусгнившие бревна и корни кажутся чудовищами, а поверхность воды черна, как полированная сталь.

Если компания подбиралась энергичная, выносливая, можно было отправиться в далекое путешествие, километров за двенадцать, — туда, где Ирдынские леса, раскинувшиеся на сотни километров, подходили к обрыву днепровского берега.

Здесь всегда царила прохлада, а воды были черны и чисты. По песчаному обрыву карабкались маленькие нарядные елки, а вверху передовые пикетчики лесного массива — величественные сосны — наклоняли узорчатые кроны над омутами роющей берег воды.

Лес любили не меньше Днепра.

Это был старый, залущенный бор. Только две-три дороги пересекали его густую чащу. У дорог стояли строем корявые густолистые дубы, а за ними, над подушками перегнившей и скользкой хвои и густых папоротников, поднимались сосновые стволы, исчезая в черно-зеленой крыше вершин.

Все это пространство было напоено запахами смолы и скипидара, возбуждающими ароматами весны.

Здесь аукались, бегали наперегонки, падали с разбегу на землю, доверчиво, как дети на большую постель. Дрались высохшими шишками, пели хором, слушали эхо. Лес вежливо отвечал на каждый голос и раскрывал перед пришельцами все новые и новые колоннады и просеки, зеленые лужайки и заросшие осокой и камышом болота.

В лесу оставались до вечера, а потом быстро мчались вниз по течению. Пристань в сумерки можно было разыскать по силуэтам зданий, за которые падало большое жаркое солнце, а ночью — по огням.

Надевались опять подмоченные мундирчики и фуражки. Гимназисты шли по улицам города, держась поближе к заборам, чтобы не заметил глаз начальства великих преступников, осмелившихся ходить по улицам в неположенное время.

Каждый год по весне из-за шалости или по пеловкости переворачивалась какая-нибудь лодка с молодежью, и старики-рыболовы и плотовщики во главе с матросом со спасательной станции долго обходили баграми илистое дно реки.

Через город шла траурная процессия. Небольшой гроб утопал в цветах. . . Начальство усиливало надзор за гимназистами, и Еська еще дальше отводил лодки в непоказанное время.

Конец апреля напоминал об экзаменах. Даже на Днепр ходили с книжками. Вечерами чаще оставались дома. Отцы и матери не скупились на упреки в лености и нерадении. Гимназисты еще крепче ненавидели педагогов. . .

Каждый по-своему готовился к экзаменам. Одни зубрили, сидя по домам и закупорив уши пальцами. Другие изнывали над книгами «соборне» у товарищей, располагавших отдельной комнатой. Большинство занималось изготовлением шпаргалок.

Теоретики находили, что в этом искусстве заметен определенный упадок.

— Наши шпаргалки, — грассируя и картавя, говорил Матвеев, — это просто — «тьфу»! . . . Он щелкал в сторону гусарским плевком, походившим на выстрел пробочного пистолета. — Старший брат показывал мне

шпиргалки на резинке. Они вылетают в нужный момент из рукава, из подмышки, из брюк. Это я понимаю! Затем на пуговицах мундира... Понимаешь... на ленточке бумаги писали так мелко, что без лупы не разберешь, и потом закручивали на ушко пуговицы.

— На кой же чорт? — сомневался Ливанов. — Шпиргалок полные карманы, а прочесть нельзя.

— Дурак, не понимаешь... Глаза были, как у орлов! С последней парты на первой читали, — кипятился Матвеев.

— Культ предков, — махнул рукой Андрей. — Ты явно запоздал с рождением.

— Ну, а теперь что? — не смущался Матвеев. — Напишут на ладони две-три формулы, а может, нужна будет вовсе не эта. Преподаватель заметит, что руки в чернилах, и пошлет мыться.

— Изобрети что-нибудь новое.

— А я изобрел.

— Секрет?

— Эх, ребята, скажу вам, так и быть... Не пожалел я шелковой подкладки моего мундира.

— Да что ты говоришь? — воскликнули товарищи.

Мундир у Матвеева был сшит у военного портного, сидел как «пригнанный», грудь лебедем, и когда Матвеев проходил по церкви или по улицам города, полы то и дело сверкали белыми треугольниками на фоне мундирного сукна.

— Хватило места?

— С остатком!

— Боюсь я, что мундир твой зря погиб, Матвеев, — сказал спокойно Ашанин. — Все равно сядешь.

— Ну, а сяду, так уйду из этой гимназии. Поеду в Златополь.

— Давно пора, — сказал Андрей. — Там еще, чего доброго, медаль схватишь.

Салтан, Черный, Берштейн и другие неуспевающие богачи пригласили релетиторов. Ашанин занимался бесплатно с двумя нуждающимися товарищами.

Андрей, Ливанов, Василий и еще несколько пятиклассников «готовились» на кладбище.

Василий не ограничивался занятиями с друзьями. Он работал и сам, «по-настоящему».

— Ты хочешь Ашанина обскакать? — спросил его как-то Андрей.

— Ашанин мне не мешает, — отвечал Василий. — По моему, если учиться, так учиться. Знаешь, — сказал он, закидывая излюбленным жестом руки за голову, — такому, как я, если уж дорвался до школы, — держись! Не часто случается. . .

В городе было множество буйно разросшихся садов. Поздней весной красные и зеленые крыши домов тонули в сочной зелени насаждений. Белая пыль лепестков вишни и яблони покрывала улицы в дни цветения. Но самым буйным, самым зеленым островом в городе был не городской сад, не сад купца Смирнова с открытой сценой и даже не сад-парк грабаря Самойленки, занимавший целый квартал, а давно уже заполненное, занимавшее двенадцать десятин старинное кладбище.

Обойди со всех четырех сторон эту братскую могилу города, ниоткуда не увидишь острого шатра небольшой церквушки, осененной серебристыми тополями и кряжистыми липами. Аллеи здесь похожи на прохладные, темные гроты, деревья сплелись косматыми шалками, и тень царит здесь в самый яркий, в самый жгучий солнечный день.

Черные плечи тяжелых мраморов и серые граниты поднимаются над рядами посеревших от дождей, расстрескавшихся от жары простых и вычурных деревянных крестов. Белые ангелы и наои с раскрытыми библиями окружены зелеными с золотом ажурными решетками. Это у самой церкви спят горбатовские богачи,

кушцы, генералы, чиновники... Но подалее от церкви большинство могил давно превратилось в детские холмики, одетые одним общим одеялом — весенней порослью папоротников и трав.

По краям кладбища в канавах массажи водятся большие зеленые лягушки, сычат ужи, и нахально греются на камнях серые злые гадюки.

По ночам здесь ходит сторож с колотушкой, угрюмый, нелюдимый старик, уже в жизни перешалнувший через грань смерти...

Сторожа боялись взрослые и молодежь. Боялись смотреть ему в лицо. При встрече он шел прямо на человека, как слепой без поводыря, и глаза его смотрели куда-то вперед, мимо, тусклые и пустые. Ночами он бродил по кладбищу, по могилам, никогда не спотыкаясь, как неудержимо плывет тень от облака, и случалось не раз, что озорники, воры и хулиганы удирали при виде его, как будто навстречу им из-под тяжеловесного купеческого памятника поднялось привидение.

С этим кладбищем у Андрея было связано много воспоминаний. Прежде всего неясное, далекое, может быть возникшее от чужого, случайно оброненного слова, а может быть, десять раз пережитый во сне отзвук первых жизненных впечатлений. Белый полог, закрывший чье-то дорогое лицо... Черная дыра глубоко в землю... может быть, насквозь...

По вечерам страшными становились кресты и могилы, и заказанными казались самые пути к кладбищу.

Но перед самыми воротами с деревянным восьмиконечным крестом раскинулась зеленая неразъезженная площадь с классической лужей — место всех мальчишских состязаний, начиная от стенки на стенку, вплоть до первых футбольных матчей.

Лучшими вечерами, когда тени деревьев купами поднимались над низенькими, отступившими во тьму дома-

ками, мальчишки из предместья, утиравшие нос платерней, но говорившие только о подвигах и удали, задорно приглашали гимназистов пойти на кладбище и «доказать»...

При мысли о глухом могильном закоулке, о черном кресте, на котором надо во что бы то ни стало — иначе не берись! — написать мелом две четкие буквы, — в голове поднимались самумы сомнений, и слюна жгла быстро пересыхавшее горло.

Но д'Артаньяны, Атосы, Тарасы Бульбы, Красные Карабины и де Бержераки, казалось, непрерывными шпалерами стояли через всю площадь и вдоль длинной кладбищенской аллеи.

Как вестминстерская невеста под скрещенными палашами гвардейцев, прошел Андрей синей ночью под сводом невидимых шпаг, свершая первое насилие над собой, над темными сумраками детской мистики.

Назад уже мчался в карьер перепуганный мальчишка, и не было по бокам аллеи ни французских мушкетеров, ни охотников прерий и Скалистых гор. Только блестели в лунных туманах мраморы памятников и стволы лип. Бездомные собаки урчали в кустах, и зловеще, по-кладбищенски, шелестел ветер в кружеве потонувших в темноте ветвей.

Сердце колотилось, как колокол, вздыбленный набатом.

Все же Андрей «доказал», чтобы потом всю жизнь «доказывать», всюду, куда приводила своя и чужая воля.

Теперь сад мертвых казался знакомым, обжитым парком. Гимназисты ходили с книжками в руках по длинным аллеям, пересеченным под прямым углом боковыми дорожками.

Три стороны квадрата — на чтение учебника. Четвертая — на встречу с товарищами. Короткий разговор, прощальный знак — и новый тур, разлука на пять-шесть минут.

- Ты до чего дошел?
- До Крестовых походов.
- Я до Фридриха Барбароссы.
- Сегодня надо обязательно пройти три похода.
- Давай повторять вместе.
- Есть, капитан. Адье, до скорого свиданья!

Андрей напруженно твердит про себя, что в первом Крестовом походе участвовали Готфрид Бульонский, Раймунд Тулузский и Адемар Пюиский. Все это знакомо. За именами уже давно стоят неведомо как сложившиеся образы, и, успокоенный своим успехами, Андрей готовится предложить Ливанову пройти по крайней мере до седьмого похода, но на главной аллее, где должна состояться очередная встреча, — Ливанова нет.

«Странно, — думает Андрей. — Неужели я так быстро шел? Или может быть Костя сбежал?»

Но за ближайшим углом — разгадка. У зеленой скамьи стоит Ливанов, а рядом, положив руку с книжкой на зеленую ограду могилы, — девушка с туго заплетенной косой.

«О! и девчата повалялись готовиться на кладбище», усмехнулся про себя Андрей. Он прошел мимо Ливанова, устремив глаза в книгу. Почувствовал, что девушка смотрит на него, поднял глаза и встретил блеск крепких, как полированные камешки, черных глаз, прикрытых козырьком длинных ресниц.

Андрей первый опустил взор и повернул в боковую аллею.

«А как же Саня?» — мучительно размышлял он, удивляясь налетевшему волнению. Саня милая, нежная, с пушистым концом косы. Зачем эта девушка так пристально смотрит на него? А может быть это ему показалось?

Третий Крестовый поход оказался исключительно трудно усваиваемым. Фигуры гордых крестоносцев в латах поблекли. . .

На большой аллее Андрей встречал теперь Ливанова. На боковой — девушку-незнакомку.

— Андрей, ты кончил четвертый?

— Нет. . . меня, знаешь, заинтересовал третий.

— Ты читал Айвенго?

— Наизусть знаю.

— По Виноградову Ричард Львиное Сердце выглядит иначе.

— Знаешь, Ливанов, я часто чувствую, что историю надо изучать не по нашим учебникам, а как-то иначе. Например, интересно узнать, как пишут о русско-турецких войнах турки, или о Крымской войне англичане.

— Это легко себе представить. Хорошо бы найти такие книги, в которых все описывалось бы правдиво. . .

— А где их достать. . . такие книги? . . и есть ли они?

— Наверное есть. Иначе быть не может. Мы ничего еще не сделали, чтобы достать такие книги. Что, если пойти к Иннокентию Порфирьевичу? Он — библиотекарь. Он должен знать все книги. Как ты думаешь?

— Это — мысль! Надо только поймать его в хорошем расположении духа. Надо спросить Леньку.

Девушка показалась на главной аллее. Костя двинулся вперед, опять углубившись в книгу. Андрей догнал девушку, но она вдруг оглянулась и быстро нырнула в сирень.

С бьющимся сердцем Андрей раздвинул душистые ветви. . .

На скамье, у покосившейся гранитной колонны сидели рядом Саня Ашанина и девушка-незнакомка. У Сани на щеках рдели яркие пятна смущения. Черные глаза-кашечки смеялись не злым, но колючим смешком.

Душистые ветки хлестнули Андрея по лицу, и он бросился бежать к выходу, не предупредив Ливанова.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Апрель на Украине ясный и ветреный. Все полевые и лесные овраги сживают, наполняются мутными струями, потоками и каскадами, журчат, пенятся и играют. Всем водам путь — в Днепр. Днепр принимает в свое широкое лоно и большие притоки, и ручьи, и лесные ключи, — все весенние талые воды.

Река темнеет, пухнет и начинает упорную борьбу с берегами. Прячутся под воду прибрежные сыпучие пески, прячутся длинные желтые отмели, покрываются водою лесные дворы, выше заборов заложенные смолистыми, покрасневшими от воды бревнами, штабелями белых досок и горами стульчаков — коротких круглых обрезков.

Река гонит свои быстрые струи вперед и вперед, и они по первым побегам травы, по щелям лесных дворов, под заборами шаг за шагом завоевывают нижний город. Они просачиваются под деревянные крыльца домов, воровски забираются в сараи, кладовые, ледники и подвалы, превращают в ловушки ямы и выбоины, а потом в какое-нибудь солнечное утро, когда ветер подует наперекор течению, выльются потоками на улицы города и превратят кварталы лесопилен, заводов и пристаней в приднепровскую невзрачную Венецию.

Для хозяев наводнение — беда, для ребят — праздник. Гоняют кораблики, бродят по пояс в воде, роют ей новые пути, ставят насыпи и водяные колеса. Оттого шумно и по-своему празднично у разлива.

Чтоб попасть к Леньке Алфееву, нужно пройти по самому берегу, рискуя свалиться в застоялую, убранныю серой пеной весеннюю воду. «Замок» Ленькин в две комнаты с кухней стал над обрывом, всему нижнему городу показывая гнилую дощатую крышу, облупленные рамы окон и зев высокого подвала, который, собственно, и является резиденцией Леньки.

С Алфеевым Андрей и Ливанов познакомились в прошлом году на берегу такого же апрельского, но еще более мощного разлива.

Стоя во весь рост на носу плоскодонного баркаса и оглашая воздух неистовыми криками, худой и длинный гимназист в обтрепанной шинельке, без ясных пуговиц, гнал перед собою веслом тушу затонувшей в разливе свиньи. Щетинистая, разбухшая от воды спина то уходила от ударов весла под воду, то вновь серым островком качалась на поверхности. Свинья плыла по направлению к берегу. За нею медленно подвигался баркас.

— Ты знаешь, кто это такой? — спросил Ливанов Андрея. — Это — Ленька Алфеев.

— Разве? — обрадовался Андрей. Он никогда не видел Леньки. Но кто из горбатовских гимназистов не слышал о Ленькиных подвигах?!

— Видишь, у него в гербе выломаны буквы. Он донашивает форму. Из гимназии его в прошлом году выгнали.

— А ты не знаешь, за что, собственно, его выгнали?

— За богохульство.

— А мне передавали, что он немцу на уроке вылил в карман бутылку чернил.

— Отец говорит, что он в церкви в хоре был — альт. Вот хор поет, поет, да вдруг все и захохочут. Это Ленька какой-нибудь анекдот завернул. А однажды Хромой Бес услышал, что Ленька во время херувимской рассказывал «Чудо на браке в Кане Галилейской». А потом он бутылку с вином в алтаре украл, — вот его и выста-

вили. Говорят, отец у директора в кабинете плакал. Ничего не помогло. За богохульство, брат, не спустят.

— А Косте Блохину спустили, — помнишь, он окно в алтаре разбил во время службы.

— Тоже сравнил. Блохины — купцы первой гильдии, а у Леньки отец — библиотекарь. . .

Тою же весной Андрей встретился с Ленькой у лодочника Еськи. Ленька стоял на берегу у самой воды и, деятельно разрабатывая недра длинного носа, с завистью смотрел на гимназистов, нанимавших лодки. Одну из лодок взяли Киреев-Молекула и друживший с ним тихий шестиклассник Лабунский. Ленька с презрением посмотрел на Молекулу, сплюнул и изрек:

— Ты бы, паренек, пузыри с собою взял. А то еще, чего доброго, перевернешься.

— А может, я лучше тебя плаваю? — обиделся Молекула.

— А ты Днепр переплывешь?

— А ты переплывешь?

— Я туда и сюда переплываю. . .

— Ну, это ты врешь! — не выдержал Андрей.

— Подо что идет?

— Ну, а подо что?

— Заплати Еське за три лодки вперед.

— Идет!

— Пльви только сейчас за мной в лодке, а то ведь переплыть — переплывешь, а знаешь, куда занесет? Обратно-то как?

Андрей и Ливанов взяли в лодку Ленькину одежду, а Ленька, недолго думая, прыгнул в воду.

Плавал он легко и весело. Находу дурачился, кувыркался, нырял под лодку, плыл на спине, на боку, и руки его легкими бросками размеренно вылетали из-под воды без единой брызги, как крепкие гуттаперчевые лопасти, как плавники какой-то невиданной рыбы.

Когда Ленька вышел на песок противоположного берега, грудь его высоко вздымалась, и тело посинело.

— Ты замерз. Одевайся и гребь. И не надо обратно.

— Мы и так верим. Плаваешь ты чортом! Будем считать, — ты выиграл.

Ленька молча натянул рубаху и штаны. Плечи его подрагивали, а челюсти звонко и часто стучали. Он с азартом схватился за весла и беспокойно, рывками повел лодку вверх против течения. Когда лодка оказалась на километр выше Еськиной пристани, он, ни слова не говоря, швырнул рубашку и порты в лодку и опять бросился в воду.

— Гребь за мной! — скомандовал он находу Андрею.

Андрей повел лодку вслед за Ленькой.

— Лезь в лодку, дубина! Чего ломаешься?

— Брось, — сказал Ливанов. — Его не переспоришь. Рыцарское слово — не фунт изюму.

— Тоже рыцарь, — сказал Андрей. — Дохлах свиней в зад пинать.

— Ты что думаешь? — смеялся Ливанов. — Он свинью, небось, домой приволок. Она свежая, вернее всего — вчерашняя. На библиотекарьское жалованье не разживешься.

— А что он теперь делает? — спросил Андрей.

— Ленька? Да ничего. На Днепре живет. С рыбаками рыбачит. Плотовщикам помогает. А больше так бродит. . .

На этот раз Ленька не дурачился. Он плыл ровными, крупными саженками, стараясь осилить двухкилометровую махину весеннего Днепра, прежде чем течение сметет вниз, к пристаням, где совсем нельзя подойти к берегу.

Но уже на середине реки саженки стали короче, и руки потеряли гибкость и уверенность.

Вот Ленька лег на спину.

— Смотри, даже глаза закрыл, — шепнул Ливанов.

— Ленька, полезай в лодку!

Ленька открыл глаза, отрицательно кивнул головой и опять стал грести обеими руками, лежа на спине. Руки поднимались вяло; видно было, что силы Ленькины уходят.

— Ленька! — со злостью крикнул Андрей. — Лезь в лодку, или я тебя веслом!..

Ленька не отвечал. Андрей направил лодку прямо к Леньке. Острый нос едва не ударил его по голове. У самого борта, распластавшись, лежало на воде Ленькино смуглое тело... Андрей схватил Леньку за волосы, и только тогда Ленька положил руку на борт.

— Минутку отдохну, — задыхаясь сказал он, — и доплыву.

— Я тебе доплыву, холера, — выругался Андрей. — Тоже рыцарь нашелся! Костя, нагни лодку в другую сторону. Ну, полезай!

Ленька минуту подумал, потом нехотя занес ногу в лодку.

Он сидел всю дорогу молча. У берега оделся и, ни слова не говоря, прыгнул на песок и ушел. Андрей оставил Еське рубль. Этот рубль Еська вернул Андрею поздней осенью, когда уже сало шло по Днепру.

С тех пор началась у Ливанова и Андрея дружба с Ленькой. Андрей был Атос, Ленька — д'Артаньян, а Ливанов — Арамис.

Не было только Портоса.

На военном совете была однажды предложена кандидатура Козьявки, но это имя было встречено негодованием.

Мушкетеры так и остались без Портоса, пока не сдружились с Васькой Котельниковым...

На стук вышла сестра Леньки, полная девушка, местная покорительница сердец, Настасья Иннокентьевна.

— Ленька у себя, внизу, в кладовушке. Он — как Диоген в бочке.

Кладовушка в выложенном из булыжника подвале размерами действительно походила на бочку. Чтобы войти в нее, нужно было согнуться в три погибели. Здесь, в этой темной дыре, стояли козлы с брошенными на доски цыновками и рваным ватным одеялом. С потолка свисали пакля и черная от пыли паутина. В одном углу пауком растопырился небольшой ятер,<sup>1</sup> за ним, у стены, скатанный на двух шестах невод. Под потолком на бамбуковом удилице висели кармачки всех размеров с крючками — от едва заметного, на который с трудом можно было нацепить муху, до соминых, на которых можно было повесить пятиклассника. Высокая скамья служила столом. Куски хлеба, рыбы кости, клей в жестянке, куски пробок, ржавый нож — валялись здесь рядом с томиком Дюма.

— Какое общество! — воскликнул Ленька. — Как принимать вас, шевалье? Присядьте на скромное ложе. Не особенно уютно, но зато никаких прыгунов. В этом даю честное слово дворянина. Сейчас достану сидр и устрицы.

Он быстро выскочил из кладовушки и через минуту прискакал с кувшином яблочного квасу.

— Простите, устрицы еще не выросли. Квас стащил у патера — его вечерняя порция. Будет некоторое огорчение, но что же делать!

— Брось, Ленька! Стащи сидр обратно патеру, тем более, что мы пришли к вам, шевалье, с просьбой ходатайствовать перед благородным отцом.

— Услуги д'Артаньяна всегда в вашем распоряжении. Но что хотите вы от престарелого дворянина?

— Бросьте дурака валять, — вмешался Ливанов. — Говори, Андрей, в чем дело.

<sup>1</sup> Ятер — рыболовный снаряд.

— Монсеньор, — отвесил ему поклон Ленька-д'Артаньян. — Ваше стремление уйти от мира часто заставляет вас забыть о том, что вы пока еще мушкетер.

— На сегодня тема нашего разговора действительно не вяжется с мушкетерским стилем. Мы решили, что ваш уважаемый патер, хранитель городских книжных богатств, мог бы нам быть полезным в отыскании путей... к знанию и правде...

— Го-о-о! — захохотал Ленька уже без всякого дворянского лоска. — Да ты сдурел, Андрей. Мой фатер в роли агитатора!

— А ты ему не говори, зачем нам нужны книги. Ты его спроси только, в каких книжках можно найти что-нибудь о революции, о порядке в других странах и о великих революционерах.

— А ты не думаешь, что он заустит в меня «Нивой» за тысяча девятьсот второй год?

— А ты будь дипломатом. Ты скажи ему, что мы интересуемся только названиями таких книг, чтобы никогда их не читать.

— Высокого вы мнения об умственных способностях моего отца, шевалье! Впрочем, не хотите ли вы сами побеседовать с ним, хотя бы даже сейчас. Мне, кстати, нужно сейчас маршировать к нему, клянчить полтинник на нитки для невода...

Городская библиотека после многолетних мытарств приютилась в прохладных полуподвалах двухэтажного дома купца Науменки.

Низкие потолки давили. В окна видны были только сапоги прохожих. Сырость покрывала плесенью кожаные корешки переплетов, стены и даже полки. Неподвижными рядами стояли здесь двадцать тысяч книг, но только две-три полки жили по-настоящему под натиском читателей. На этих полках стояли Жюль Верн, Густав Эмар, Буссенар, одинаковыми корешками ширились со-

чинения Салиаса, Мордовцева и Дюма. Рядом несколько спокойнее стояли классики, Писемский, Мельников-Печерский, Данилевский и толстые столичные журналы.

Иннокентий Порфирьевич не был загружен работой. Иногда часами он задумчиво расчесывал редкую седенькую бородку когтистой рукой с отроценными неопрятными и желтыми ногтями, походившими на когти хищной птицы, и смотрел в окно на мелькавшие за стеклом пшители и юбки прохожих.

Если попадался подходящий собеседник, Иннокентий Порфирьевич не прочь был пофилософствовать. Он считал себя просвещенным и начитанным человеком. Возражений он не терпел и всякие сомнения партнера отводил ссылками на том и страницу таких-то и таких-то авторитетов.

При этом его согнутый указательный палец так грозно и так настойчиво приближался к носу собеседника, что отступать последнему приходилось и в прямом, и в переносном смысле слова.

Когда Андрей, Ливанов и Ленька вошли в помещение библиотеки, Иннокентий Порфирьевич наступал на первого любовника — любителя местного любительского кружка, Константина Федотовича Козодоева, и свирепо кричал:

— Это, батенька, явление совершенно новое. Мы организуем партию правового порядка! Поняли — право-во-го порядка? Это означает объединение наиболее устойчивых элементов общества, вместе с тем укрепление основ культуры и доведение государственной мудрости до самой глухой провинции. В такую партию сразу пойдут лучшие люди из других партий. Нашу партию породило наше время. К нам пришли сейчас и отец Давид Ливанов, и городской голова. Есть слухи, что к нам войдет и Черный, и владелец этого дома Науменко, и большинство местного чиновничества, вплоть до... — он высоко

поднял палец и понизил тон: — вплоть до членов окружного суда.

— Слушай, Ливанов, — шепнул Андрей, — наши батьки тоже объединяются. Может, и у них кризис литературы?

Иннокентий Порфирьевич заметил гимназистов и посмотрел на них сбоку из-под дужки очков. Вид у него был до крайности умный.

Козодоев, улучив момент, быстро ретировался с двумя томиками Брет-Гарта.

— Ты что? — спросил он Леньку. — Принес что?

— А что нужно было принести? — удивленно поднял брови Ленька. — Я хотел у тебя просить полтинник на сети. Завтра поеду по рыбу.

— Который это полтинник? — пожал плечами Иннокентий Порфирьевич. — Вся твоя рыба не стоит этих полтинников.

— Ну, не давай. Покупай рыбу на базаре. Я и без полтинника справлюсь.

Иннокентий Порфирьевич засопел и стал рыться в огромном кожаном кошельке тем же птичьим пальцем. Он выложил полтинник на прилавок, вздохнул и сказал, обращаясь к гимназистам:

— Жизнь стала дорога. Тяжело. Масло тридцать копеек фунт! Мясо дошло до двенадцати! Да. Молодость не знает забот.

Ливанов потянул Андрея за полу. Андрей понял — настал удобный момент.

— Мы вот, собственно, к вам, Иннокентий Порфирьевич. Больше не к кому обратиться. . . Вы говорите, молодежь не интересуется заботами отцов. А мы вот хотели бы познакомиться. . . с партией правового порядка. . . (Андрей в первый раз слышал о такой партии) с другими партиями, например, с социалистами.

Глаза Иннокентия Порфирьевича, молочного цвета с зеленью, показались над очками.

— Что такое? А у вас на губах обсохло, молодые люди? — Он решительно поднял очки на лоб. — С какими это вам партиями нужно знакомиться? Вы еще пока в партии маменькиных сынков. В девять спать, в семь вставать. Вот и весь ваш устав. Учиться — все равно не учитесь. . .

— Нет, Иннокентий Порфирьевич. Мы ведь серьезно. Ну, может быть, я нехорошо сказал. Но кто же, кроме вас, может нам указать, какие книги стоит читать. Ведь вон их сколько! — Андрей показал рукой на поднимающиеся до потолка тяжело нагруженные полки. — Их за жизнь не перечитаешь.

— Это ты прав, — сказал Алфеев. — Ты посчитай. Если ты будешь читать по книге в день, — а это почти невозможно, — то за год прочтешь триста книг. Значит, за десять лет три тысячи, а за сорок лет двенадцать тысяч. И то много. Невероятно много! А ведь в этой библиотеке тридцать тысяч книг. И это еще не такая большая библиотека! В Петербургской публичной библиотеке — три миллиона книг! Даже специалисты не знают всех книг, какие там есть. Каталогов таких нет. Вот что! Читать следует с отбором. . .

— Ну, вот видите, Иннокентий Порфирьевич. Мы и решили просить вас посоветовать нам серьезные книжки.

Иннокентий Порфирьевич задумался, осознав всю серьезность момента.

— Так. Ну, что ж, хорошо. Буду давать вам книги по своему выбору. Вот вам на первый раз. Читали?

Он принес им с дальней полки аккуратно перенлетенную книгу, повидимому, мало бывшую в употреблении.

— Генри Томас Бокль, «История цивилизации в Англии», — прочел Андрей. — Бокль — это я слышал, только не читал. Это очень хорошо.

Чтение Бокля началось здесь же, на крыльце библиотеки, но продолжалось недолго. В облаке пыли лихо

подкатил Петька Стеценко. Он осадил лошадей и с высоты козел крикнул:

— Эй, кого катаю!? — Петька сидел худой и задорный. Тощие бока лошади вздрагивали. — Садись, а то свистну и укачу! — С подножки глядел разваливающийся, широкий не по ноге башмак.

— А ты куда?

— Председателю подаю, — гордо заявил Петька.

— Какому?

— Лысому. До крыльца могу докатить

Мальчишки сели и покатали трусой.

— Чего взял? — спросил Петька, вполоборота глядя на Костю.

— Бокля «История цивилизации», — важно заявил Ливанов.

— А на Днепр пойдешь?

— Пойдем.

— Ну, и я.

— Приходи. А отец запил?

Петька кивнул головой.

— Третий день.

У председательского крыльца слезли.

— Хороший царень, — кивнул в Петькину сторону Ливанов. — Ему бы учиться.

— Он способный. Память! — расскажешь что, как гвоздем забито. А жизнь собачья. То ездит, то коню корм с базара таскает. У них шестеро, и он старший. Отец запьет, — по пять дней голодают.

— Ты с ним занимался?

— Теперь бросил, ничего не выходит. Он сам пока читает. Надо бы опять заняться.

— Кирничик в аду прибавился.

— Нет, верно. Вот каникулы будут, опять займусь.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Май раскрыв окна в особняках богачей и в домиках чиновников. Не сдерживаемые больше стеклами цветы гостинных тянулись широкими листьями к цветам на клумбах. Яблони и сливы усыпали белыми лепестками садовые дорожки и кирпичные тротуары.

В Старом городе не было ни садов, ни цветников, ни тротуаров, и совсем не было смысла раскрывать окна. Разве приятно вдыхать ароматы помойных ям и скоплений мусора? И откуда здесь столько мусора? Казалось бы, здесь живут люди, которым нечего выбрасывать на свалку.

Впрочем, в доме Гайсинского все окна открыты. Рахиль не выносит духоты. Она открывает окна с обеих сторон.

Пусть лучше будет сквозняк. Какая беда? Уже тепло, и это уже не сквозняк, а ветер. Ну, а если сквозняк?.. Говорят, у нее процесс. Ну, а если процесс, то чем скорее, тем лучше... А пока можно сесть у окна, у того, которое выходит к зеленому борту церковного холма, и дышать свежим воздухом.

Вот и сейчас она сидит и смотрит вдоль переулка, где пыль серебрится на солнце, словно это не пыль, а потемневший снег.

И вдруг:

— Ой, какая роскошная коляска! И сколько пыли! А кучер в желтой рубашке. Кто это так ездит?

— Где коляска? — высунулся в окно и Миша.

Даже старый Гайсинский поднял голову и перестал мотать иглою с длинной черной ниткой. Говорить он не мог, — у него во рту пачка булавок. Теперь он слушал, а в окно неся стук мягко идущих колес, звон бубенцов и серебряный шорох сбури.

— Это кто-нибудь с Днепра. Только почему здесь, а не по мостовой? Наверное дороги не знает. . .

— Тпр-р-р-р. . . — выпятил губу кучер и осадил коней у самых окон.

— Ой, папа, это к нам! — закричал Миша. — Это, может быть, к тебе богатый заказчик?

Старый Гайсинский выплюнул в руку булавки, поправил очки, но сейчас же отправил все булавки обратно в рот и махнул рукой, словно хотел сказать — какой там богатый заказчик! . . . Гайсинский давно уже перестал ждать богатых заказчиков.

— Здесь живет гимназист Гайсинский? — спросил громко кучер.

— Здесь. А зачем он вам нужен? — спросила Рахиль.

— Пускай собираются. Приказано отвезти их в Отрадное.

— Меня? В Отрадное? — удивился Миша.

— Так точно. Не дадите ли, барышня, стаканчик воды?

Миша вынес кучеру стакан воды на блюдце. Кучер вышил, крикнул и вытер губы манжетой своей щегольской рубахи.

— Жара, как летом. Садитесь, паничу поедем!

— А зачем мне туда ехать?

— Не могу знать. Сам барин приказали. И чтоб сейчас же вас привезти.

— Ничего не понимаю, — развел руками Миша.

Он вошел в дом и спросил отца, ехать ли ему в имение Козявки, или не ехать?

— Что значит — не ехать? — сказал Гайсинский. — Разумеется, надо ехать. Даром лошадей присылать никто не станет. Савицкий совсем не такой человек, чтобы без нужды звать к себе сына бедного еврея.

— Хорошо, я поеду, — сказал Миша, — хотя, убей меня бог, я не знаю, зачем это нужно.

На самом деле ему ужасно хотелось проехать по городу в этой роскошной коляске, развалившись на ярких ковровых подушках.

Кони летели размашистой рысью по укатанной дороге. Позади вздымалось длинное, медленно талое облако пыли, но впереди над полями синел прозрачный предвечерний воздух, и солнце, набухшее и покрасневшее, уже готово было коснуться линии горизонта.

Кони, вздрагивая, остановились перед крыльцом одноэтажного дома, и казачок в украинской рубашке и синих шароварах открыл зеркальную дверь. Миша забежал по ступенькам и по пушистой дорожке вошел в полумрак передней.

— Направо... в кабинет пожалуйста! — шепнул ему казачок, и от этого шопота, от темнеющих провалов зеркал по стенам, от блеска мраморных колонн стало Мише не по себе. Словно он вошел в какое-то таинственное место, где живут сильные и злые люди. Сердце Мишино забилося, как колокольчик в руках гимназического сторожа Якова.

Полумрак царит в большом круглом кабинете. Только у окон освещенное место. Здесь у стола, на котором можно было бы поместиться целому оркестру, стоит плотный человек в синем костюме. Он протягивает Мише мягкую большую руку и говорит:

— Садитесь, молодой человек.

Миша садится в кресло. Кресло внезапно уходит под ним куда-то вниз, и Мише кажется, что он проваливается сквозь землю. Миша мгновенно вскакивает на ноги.

Кресло на месте... Это мягкие пружины кресла сыграли с Мишей шутку. Теперь Миша решает, что вообще все это гораздо проще, чем кажется. Он тут же уверенно садится в глубину уютного кожаного кресла.

— Вы, вероятно, догадываетесь... зачем я... послал за вами? — Савицкий раскуривает сигару.

— Я... Нет... Я совсем не догадываюсь...

Опять налетает неуверенность, и сумрак из глубины комнаты плывет к окну.

— Разве вам ничего не говорил ваш классный наставник?

— Нет, ничего.

— Значит, он не успел. Ну, это безразлично. Видите ли, вам, вероятно, известно, что мой сын проходит курс гимназических наук не очень успешно. Он не лишен способностей, но слишком ленив и, пожалуй... несколько избалован... Приходится признаться. Словом, без помощи репетитора ему с экзаменами не справиться. И вот вашему классному наставнику, мнением которого я дорожу, пришла в голову мысль, вместо того, чтобы брать Коле репетитора студента или восьмиклассника, попробовать заниматься вдвоем с каким-нибудь успевающим товарищем-одноклассником. Господин Горянский, на основании опыта, полагает, что такие совместные занятия дают замечательные результаты. Я не прочь попробовать. Выбор наш мы остановили на вас. Вы прекрасно учитесь, вам не мешает некоторый заработок, а Коля сказал, что он согласен заниматься с вами, так как вы, по его словам, «все знаете». Так вот. Согласны вы заниматься с моим сыном в течение всех экзаменов и часть лета, если у Коли будут перерывы? Вам будет предоставлена отдельная комната и полный пансион, либо же вас будут привозить из города каждый день на несколько часов. Как вам удобнее.

Удивление возрастало. Миша знал, что ему рано или

поздно придется давать уроки. Он ждал этого времени с трешетом. Он знал, что все хорошие ученики, дети несостоятельных родителей, в старших классах сами содержат себя. Но он не мечтал получить уроки раньше шестого-седьмого класса. А это было бы так замечательно — иметь свой собственный заработок! Помогать отцу и сестре. Но заниматься с Козявкой, злым и тупым мальчишкой! Нет, лучше не надо заработка, не надо денег!..

— Коля, как я уже сказал, ленив, — продолжал Савицкий. — С ним придется тратить много усилий. Тут часом-двумя не отделаешься. Вам придется с ним заниматься часа три-четыре. Я предлагаю вам пятьдесят рублей в месяц. Это большая сумма, но я надеюсь, что вы приложите все усилия к тому, чтобы втянуть моего сына в занятия.

Щеки Миши вспыхнули. Пятьдесят рублей! Отец не зарабатывает столько денег. Да об этом будет говорить весь город! Отец сойдет с ума от радости!

«Разве я имею право отказываться? — взволнованно размышлял Миша. — Наконец, заставить учиться лодыря — это же благородная задача!»

— Так я надеюсь, вы не будете возражать против такого опыта, — сказал, вставая, Савицкий. Он считал разговор законченным. Ему и в голову не приходили Мишины сомнения.

Миша тоже встал.

— Хорошо. Я не знаю... Но я попробую. Я очень вам благодарен за доверие...

— Ну, вот и ладно, — радушно улыбнулся хозяин. Он ласково подталкивал Мишу впереди себя, и Миша оказался на веранде, которая выходила в большой, но еще не разросшийся сад. Здесь за столом сидело множество народу — хлебники, гости и приживальцы этого помещичьего дома. Хозяйка, мать Козявки, круглая,

краснолицая, в открытом летнем платье, председательствовала у блистающего мельхиорового самовара...

— Папа, ты знаешь? Я даю уроки Савицкому! — во-  
рвался Миша в комнату, где уже собирались спать. —  
Мне платят пятьдесят рублей... и меня поили чаем. Я  
ел розовое варенье. Настоящее розовое варенье из розо-  
вых лепестков. Ты слышал когда-нибудь о таком ва-  
реньи? И мне там отвели отдельную комнату. Так эта  
комната — как весь наш дом. И в комнате есть стол,  
соломенные кресла...

— Подожди, подожди, — перебил Гайсинский. — Кто  
тебя гонит, куда ты снешись? Какие пятьдесят рублей?  
При чем тут розовое варенье?

Миша долго рассказывал о том, как разговаривал  
с ним Савицкий, какие у него в доме большие, во всю  
стену, зеркала, что стояло на столе и что ели гости и  
с ними сам Миша, и какой костюм был надет на Савиц-  
ком, и какие предательские кресла в его кабинете. Ста-  
рик Гайсинский и Рахиль слушали рассказ Миши, как  
будто здесь сидел не гимназист, съездивший в имение  
помещика в восьми километрах от города, а как будто  
бы это передавал свои впечатления путешественник,  
вернувшийся из далеких стран, чужих и незнакомых.

Занятия с Козявкой оказались делом непростым и  
нелегким. Сначала Миша решил было жить в Отрадном  
и ездить в город в дни экзаменов, но вскоре он потерял  
вкус к пребыванию в богатом поместье.

Было приятно спать на пружинной постели с про-  
хладным, крепко наглаженным бельем. Утром в комнату  
приносили парное молоко и еще горячие сдобные бу-  
лочки с тающим сливочным маслом, сочную, упругую

встчину, которую нужно было долго жевать, чтобы рот наполнился вкусным питательным соком. За обедом Миша пробовал незнакомые до сих пор острые пряности, вечером пил чай с клубничным вареньем и крыжовником. В свободные часы можно было резвиться по бесконечным дорожкам сада, который спускался к озеру, заросшему желтыми кувшинками, водяными лилиями и кивающим по ветру камышом.

Но зато часы занятий были подобны пытке. Козявка ни на минуту не мог сосредоточиться на каком-нибудь предмете. Он часами оставался неподвижным, с тяжелым и тупым взглядом. Но как только на ум ему взбрела какая-нибудь шалость или злая проделка, его хитрые свиные глазки начинали оживленно бегать по сторонам, и он упрямо, без конца повторял понравившуюся ему остроту или шутку.

— Коля, ты только раз постарайся понять значение этой формулы, — твердил Миша. — Понимаешь. Только раз! Тогда все станет понятным. Одно усилие — и полный успех. Ну, слушай, следи за мной. Икс квадрат плюс икс игрек, плюс два икс игрек, плюс...

— Со свя-ты-ми у-по-ко-ооо... — заводил вдруг Коля басом, а затем высоким, воющим голосом прямо на ухо Мише вопил: — ... о-о-й! душу раба твоего!

Карандаш падал из рук Миши.

— Коля, ну я прошу тебя, — еще десять минут!

— Я прошу вас, я рошу вас, я ошу вас, я шу вас, я у вас, квас, Тарас, тарантас! — начинал быстро балагурить Козявка, сохраняя при этом спокойное, каменное лицо.

— Так заниматься нельзя! — вспыхивал Миша, но сейчас же, взяв себя в руки, откидывался на спинку стула и как будто бы равнодушно говорил: — Ну, хорошо, я подожду, пока ты кончишь болтать.

— А ты мне объясни, почему гимн-азия, а не гимп-

африка? Почему сто-рож, а не девяносто девять физиономий? Почему город-о-вой, а не деревня-у-крик?

Миша молчал, отвернувшись в сторону. Затем цедил сквозь зубы:

— Старо и неостроумно...

— А ты не злишь. Лучше отгадай загадку. Четыре ноги, сверху перья, хорошо летает. Не знаешь? Ну, я тебе скажу: две вороны. А вот еще: четыре ноги, сверху перья, совсем не летает. Тоже не знаешь? Письменный стол.

Миша не выдерживает и смеется.

Козьявка торжествует.

— Давай лучше анекдоты рассказывать, это смешнее, чем алгебра.

— Коля! Я готов слушать анекдоты, сколько хочешь, но только после занятий. Я деньги получаю за занятия с тобой.

— Что ты говоришь? Деньги?! Ну, давай твои иксы, игреки, — с тоской тянул к себе ненавистную тетрадку Козьявка.

Но на третьей минуте он откровенно зевал во всю ширину своей пасти и изрекал:

— Мишка, а ты девок щупать любишь?

— На такие темы я отказываюсь р-разговаривать, — заикался Миша, краснея до ушей. — Раз навсегда прощу тебя оставить эти темы.

— Ну, давай на другие темы. Ты kota за хвост когда-нибудь тянул?

Миша смеется.

— Дурак ты, Козьявка. Ты меня прости. Почему ты не можешь быть серьезным полчаса? Неужели тебе не интересно учиться? Что же ты будешь делать неученым?

— Подумаешь, забота! Получу наследство, буду жить полгода в имении, полгода в Петербурге и полгода на Ривьере. Вот тебе и круглый год.

— Да уж, действительно, круглый!

Впрочем, Миша ожидал еще худшего. Он боялся, что Козьявка по своей привычке применять силу, где нужно и не нужно, будет истязать его, как он истязал Молекулу и других, уступающих ему в силе товарищей.

Иногда на занятиях присутствовала мать Козьявки. Она влюбленными глазами смотрела на сына и, когда он начинал шалить, укоризненно качала высокой, тщательно сделанной прической. Но по лицу ее можно было догадаться, что она думает:

«Ах, какой шалун, какой шалун у меня сын! Такой большой, но ведет себя, как маленький. Но он такой веселый, такой остроумный!»

А о Мише она думала:

«Положительно умный мальчик. Как он удачно держит себя с Колей. Ласков и вместе с тем так настойчив. Сын портного, но не лишен такта. Жаль только, что еврей!..»

Девятого мая, в день именин Коли, в имение съехались гости. Чистый двор наполнился колясками, экипажами, бегунками, линейками. Лошади не поместились в конюшнях и стояли у привязи под открытым небом. Из города привезли лакеев, из деревни пришли девушки оципывать птицу, мыть посуду, крутить мороженое.

Раскрылись скрытые в стенах помещичьи шкафы, хрусталь застывшими струями горной реки, тысячами огней засверкал на белых скатертях. Матовые серебряные ведра слезились ледяной росой. Из-под салфеток глядели тупые золоченые головки толстостенных бутылок Мумма и Редерера.

Гости рассыпались по саду. Молодежь пустилась на разошедшемся низкобортном баркасе по озеру, и девушки, рискованно наклоняясь за борт, старались поймать на-

ходу стебель водяной лилии с еще не распустившимся желтым бутонем.

Мужчины дымили сигарами на веранде и в кабинете хозяина.

Мишу уговорили остаться на ночь.

— Завтра не надо ехать в гимназию, — уговаривала хозяйка. — Будет прекрасный ужин. Будет очень весело, будут петь и играть.

Посланная за гимназистами еще утром линейка вернулась к вечеру нагруженной до отказа. Мальчишки немедленно помчались к воде. Салтан, Андрей и Ливанов предложили себя катающимся на баркасе в качестве гребцов. Салтан подмигнул Андрею, и гребцы стали так раскачивать баркас, что девушки и взрослые гости предпочли покинуть столь шаткую почву.

Завладев баркасом полностью, Андрей и Салтан кликнули клич, и баркас наполнился гимназистами в мундирчиках.

Опять скользил баркас по быстро темнеющей глади озера. Гимназисты брызгались, насильно высаживали менее расторопных товарищей на заболоченный пустынный берег озера. Невольные Робинзоны сперва неистовствовали, затем пытались найти обходную тропу, но, замочив начищенные для вечера ботинки, возвращались назад и терпеливо ждали, когда, наконец, сжалются над ними шалуны-товарищи и вновь перевезут в сад.

Над прибрежными ивами поднялся остророгий месяц, гимназисты утомонились и с песнями поплыли по заросшему водорослями озеру.

Андрей, славившийся искусством кормчего, сидел на руле. Подобрал полы мундирчика, он медленно мешал веслом тяжелую, темную воду. Два гребца лениво опускали и поднимали блестящие на луне весла.

Пели негромко, но стройно, как поют только на Украине: голоса сходились расходились, перекликались

между собою и опять сливались в одну слаженную, поднимающую и волнующую струю:

Тыхо, тыхо Дунай воду несе,  
А ще й тыше дивка косу чеше...  
Чеше, чеше та й на Дунай несе!

звонким серебром выводил семиклассник Бабенко, великовозрастный болван, обладатель прекрасного тенора.

Миша Гайсинский сидел на носу и, наклонившись над водой, следил за серебристыми разводами небольшой гладкой волны, которая вырастала на поверхности от движения баркаса.

Вечер еще ниже склонил к воде тени густых ив, высоких тополей и небольшой водяной мельницы у запруды.

— Ребята-а-а, — загудел над озером чей-то могучий бас. — Ужин-а-ать. Опоздавшие оста-а-нутся без мороженого-о-о!

— Андрюшка, правь к берегу, — завопили мальчишки. — Серьезная опасность!

Козьявка и Ливанов, сидевшие на веслах, приналегли, и баркас двинулся к пристани. Очищая находку брюки и сапоги от приставшего песка, громыхая ступеньками деревянной лестницы, повалили гимназисты на веранду.

Миша Гайсинский остановился у крыльца, не зная, идти ли ему за стол, или скрыться в свою комнату. На веранде и в гостиной шумно двигали стульями. Не затихали оживленные голоса мужчин и женщин. Хозяйка сама рассаживала гостей, стараясь угодить всем.

Окна в сад и на веранду были раскрыты во всех комнатах. В зале кто-то бойко брэнчал на рояли, а в угловой комнате из граммофонной трубы лился бодрый, браваурный марш какого-то гвардейского полка.

— Мальчишки! Ваше место на веранде. Вам тут будет свободнее, — командовала хозяйка. — Все уже пришли? В саду никого не осталось? — Она облокотилась на пе-

рила крыльца. — Миша, а вы что же стоите? Идите сюда. — Она сошла вниз, взяла Мишу за руку и усадила за стол.

Стол уже были уставлены закусками, фруктами, графинами и цветочными горшками. Лакеи, наклоняясь к уху гостей, угодливо шептали названия вин.

— Мне безразлично, я, собственно, не пью. . . — нерешительно сказал Миша, но лакей наливал ему в бокалы белое, а затем и красное вино. Миша выпил и то и другое, и в голове начался легкий шум. Огни заколыхались в тумане, и лица соседей показались приветливыми и ласковыми. За стеклянной стеной веранды шумно ужинали взрослые. Все двери и окна были настежь. Но гимназисты кричали так дружно и громко, что нельзя было ничего разобрать, о чем говорят в столовой.

Миша сидел лицом к взрослым. Посредине самого большого стола, в туго накрахмаленной рубашке, сидел Савицкий. Он то и дело брал у лакея бутылку или графин со стола и сам подливал вино двум важным дамам-соседкам. Рядом с ним сидел директор гимназии с широкой орденской лентой через плечо. Здесь была вся городская аристократия. Молодежь сидела за маленькими столиками, которые были расставлены по углам большой комнаты и отделены друг от друга и от большого стола зеленью пальм и фикусов в крашенных деревянных боченках. Мише казалось сейчас, что здесь собрались очень хорошие люди. Они так приветливо улыбаются, так дружелюбно наклоняются друг к другу, так охотно наливают вино, подают блюда, тарелки и судки с закусками, так скромно извиняются, если в тесноте кто-нибудь заденет соседа.

«Наверное эти люди сделали бы всех счастливыми, если бы могли. Впрочем, это что-то совсем не социал-демократическое», тут же подумал Миша и выпил еще рюмку вина.

— Гайсинский! Да ты хлещешь, как извозчик! — закричал возбужденный Ливанов. — Ах, ты, сукин сын, что ж ты скрывал свои таланты? Ты испортился в помещичьем доме.

— Я в первый раз пью вино... Честное слово!.. — Миша пьяно наклонил голову и сделал улыбающиеся, томные глаза.

— Ой, умру! — хохотал Козявка. — Мишка, а ты формулы помнишь? Теперь, небось, и тебе не до формул. Ах, собака! Он меня замучил, ребята!

— Выпьем за именинника! — крикнул Казацкий.

— Ура! — завопили гимназисты хором и подняли бокалы.

Высокий бокал дрогнул в руке Миши, и вино пролилось на скатерть.

— Да он пьян, ребята, — закричал Андрей. — Мишка, садись и не пей больше.

В столовой кто-то застучал ножом по тарелке. Стало тихо.

— Господа! — услышал Миша громкий голос Савицкого. — Сегодня именинник мой сын и наследник, но я предлагаю сейчас выпить за другого носителя того же имени, за первого дворянина нашей могущественной империи, за его императорское величество государя императора Николая II!

В угловой комнате, словно по команде, граммофон заиграл «Боже, царя храни». Все вскочили. Все спешили поднять бокалы.

Миша сидел, не отрывая пальцев от ножки высокого бокала, и попрежнему блаженно улыбался.

— Встань! — зашипел над ним Казацкий.

— То сядь, то встань, — засмеялся Миша, — что ты от меня хочешь?

Он не замечал, что все вставшие гимназисты смотрят теперь только на него.

— Встань! — со злобой крикнул Козьявка. — Не слышишь? Гимн!

Миша поднялся, и только теперь до его сознания донесли знакомые звуки торжественной полуцерковной мелодии. Эти звуки были хорошо знакомы и всегда были чужими. Всегда нужно было под эти звуки снимать фуражку, стоять и делать усилие над собою.

— Господа! — продолжал, стоя, Савицкий. — Мы переживаем тяжелые времена. Враг грозит и на востоке и на западе. Враг грозит монархии и нам, опоре трона, дворянству. Но уже наша могущественная эскадра под командой доблестного адмирала Рожественского подходит к берегам Японии, и недалек момент, когда мы возьмем врага за горло. Но еще раньше нам нужно взять за горло врага внутреннего. Всяких социалистов, бунтующих студентов, жидов и жидовствующих и прочую банду, осмелившуюся угрожать древним порядкам Святой Руси. Нет пощады врагу! Это борьба на жизнь и на смерть. За нашу победу, господа!

— Ура! — рявкнули гости.

— Ура! — завопили гимназисты.

Все сели, и только Миша стоял.

— Ты что, остолбенел, как жена Лота? — засмеялся Ливанов.

Миша не отвечал. Миша думал:

«Схватить за горло врага внутреннего... жидов и жидовствующих... почему жидов?..»

Хмель проходил, возвращалась ясность мысли.

Жидов, то есть его самого, его отца, «варшавского портного» Гайсинского. Всех Монастырских. Просто так... За горло! Мише казалось, что чья-то красная, со вздувшимися жилами рука уже тянется к его слабой, тоненькой шее...

Зачем же он здесь, в этом доме? Зачем он пьет вино и ест хлеб человека, который желает ему смерти? Ему,

его сестре и его отцу. Всем евреям... Что сделали евреи этому сильному и богатому человеку? Что они могут ему сделать?

В зале опять кто-то застучал ножом по тарелке.

Директор гимназии поднялся и предложил тост за именинника и за здоровье его родителей.

— Вот черт, Козьявка! — прошептал Казацкий, обращаясь к Ливанову. — Сам директор за него портвейн трескает. Смотри, тут даже нам пить не мешают. Что значит — помещик!

Опять застучали по тарелке. Поднялся исправник Салтан. Он говорил, размахивая короткопалой, широкой ручищей.

— Я хочу ответить уважаемому хозяину, — начал он покачиваясь. — Врагов внешних мы как-нибудь с помощью божьей одолеем. А что касается врагов внутренних, — в голосе исправника появились нотки презрения, — то я смею уверить уважаемое общество, что здесь беспокоиться не стоит. Все это больше бабьи сплетни и страхи. На самом деле вся сила в наших руках. Надо признаться, мы немножко распустили всякую сволочь... Прошу прощения... сорвалось... — наклонился он к хозяйке. — Но на-днях мы дадим доказательство нашей силы и государственной предусмотрительности... Будьте здоровы, господа! — поднял он бокал. — Здоровье нашей уважаемой хозяйки и нашего досточтимого хозяина и политического лидера. — Он многозначительно поднял палец кверху.

— Ура! — обрадованно закричали гости.

— Вы что-то нас интригуете, господин исправник? — спросил директор. — Что это такое предвидится? Секрет? Закон какой-нибудь?

— Нет, что закон. До бога высоко, до царя далеко... Мы тут сами понемножку маракуем. Всыпем кое-кому, кому нужно... Врагам внутренним, чтобы неповадно было...

«Кому это он всыплет? — подумал Миша. — Неужели опять евреям?»

Вино показалось ему горьким уксусом, и хлеб комком остановился в горле. Он встал из-за стола и, шатаясь, держась за перила, побрел в сад и дальше, дальше к задремавшей в ночной темноте воде. Здесь он сел на борт баркаса и глядел, как в черной, словно лакированной поверхности воды неподвижно стояли золотые звезды и белый месяц серебряной насечкой лежал на самой середине озера.

Гости разъехались только под утро. А часть приглашенных осталась в поместье, заняв все угловтики, диваны и кровати, расположившись на коврах и креслах, и пьяный угар повис над помещичьим домом, который, казалось, плыл в ночной тишине, не погашая огней, с раскрытыми окнами, плыл вместе с озером, белым двурогим месяцем и плакучими ивами, склонившимися над водой. . .

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Ты большой чудак, — говорил, покашливая, старик Гайсинский. — Пятьдесят рублей!.. Разве такие деньги валяются под забором? Большое тебе дело, за чье здоровье пьет господин Савицкий? Помещики всегда пьют за царя. Что же, им пить за народ или за евреев? А господин исправник — он тоже пьет за царя. Он за это получает жалованье... И наверное большое жалованье... А ты получаешь пятьдесят рублей за то, что учишь его сына, так ты себе учи его, — пусть он будет умнее своего отца. Ты проработаешь лето, так сошьешь себе костюм на целые три года вперед. Я тебе подложу хороший запас на рост. Можно купить сукно по три рубля двадцать пять копеек аршин. Ты будешь одет не хуже твоего товарища Андрея.

— А если я его не могу видеть?! Пусть он пьет хоть за господа бога, но зачем он хочет схватить тебя за горло?!

— На что ему мое горло? Мое горло никому не нужно. Скоро мои руки никому не будут нужны. Я уже плохо вижу. Я только и думаю, чтобы ты скорее кончил гимназию. А потом, ты знаешь... если твой ученик выдержит экзамены, тебя наперебой будут брать за репетитора. А если ты бросишь урок, то все скажут: «у него ничего не вышло, потому он и бросил». Ты знаешь, заниматься с Савицким — это большая реклама.

Миша молчал.

— Ты огорчаешь отца — шептала ему в сенях Рахиль. — Доведи дело до конца, тогда и бросай. Потерпи, а потом плюнешь.

— Ну, хорошо, — сказал Миша. — Я понимаю, что я должен терпеть. Только я буду каждый день приезжать домой. Не нужно мне ихнего парного молока... Хотят, чтобы я занимался, так пускай возят каждый день...

Переходные испытания шли своим чередом. На каждом экзамене случались катастрофы. Кто-нибудь выходил с заплаканными глазами, пробирался к выходу вдоль стен коридора. Но на неудачника сейчас же наваливались десятки ребят с встревоженными лицами:

— Угробили?

— Что спросили?

— А что ты ответил?

— Придирались?

Неудачник не успевал отвечать на вопросы.

Сдавшие экзамен успешно выходили в коридор с веселыми лицами и сами охотно вступали в разговор с ожидающими очереди товарищами.

— Пришлось попотеть! — говорил какой-нибудь победитель, у которого еще полчаса назад сердце то замирало, то дрожало, как овечий хвост. — Водовоз всеми силами хотел меня срезать. Но не тут-то было.

— А что спрашивали?

— И по билету, и по курсу. И вдоль, и поперек...

— И ты сдал? — глаза спрашивавшего светились надеждой и удивлением.

— Ну, ясно. Три ночи не спал. К чорту! Не желаю больше думать об алгебре! Двигаю домой — и на боковую...

На экзамене по русскому языку пал жертвой Рулев. Он вышел в коридор, заложив руки в карманы, и, не дожидаясь расспросов, процедил сквозь зубы:

— Разложили на четыре лопатки, идолы.

— А ты чего не знал?

— И в общем, и в частности. . .

— Яко наг, яко благ, яко несть ничего?!

— Ну, наплевать! Осенью подержимся за передержку. Возьму репетитора. . . Но лето сильнейшим образом подпорчено. Вот анафемы, ироды, прохвосты, халдеи, башибузуки, проклятые! . . . — Он разразился длинной, витиеватой руганью.

— А что тебе фатер скажет? — ехидно спросил Ливанов.

— Ничего, — смутившись, ответил Рулев.

Гимназисты рассмеялись. Известно было, что подполковник Рулев обладает нравом крутым и в серьезных случаях не прочь пустить в ход аралник, который висит в кабинете у двери и обслуживает одновременно рыжего понтера Того, вестовых Фаддея и Константина и пятиклассника Рулева.

Рулев повернулся на каблуках и быстро пошел в раздевалку.

Котельников шел от победы к победе. Учителя уже предсказывали ему место первого ученика. Прежний фаворит, Ашанин, еще глубже уходил в книги, стараясь не уступить сопернику.

Под цветущими каштанами в гимназическом дворе шли непрерывные разговоры все на ту же тему — об экзаменах.

— Это что! — рассказывали семиклассники. — Разве это экзамены? Одно баловство. Вот года три-четыре назад! . . . По полчаса держали каждого. . . Ребята падали в обморок. Все нужно было жарить наизусть. Словно в царство небесное пропускали.

— И теперь несладко. . . — возражали третьеклассники и четвероклассники.

— Милые друзья! — снисходительно возражали старшие. — Вы забываете, что мы живем в эпоху либерализ-

ма. Разве можно было раньше болтаться на улице до девяти часов? Разве можно было ходить на танцевальные вечера? И на все это есть свои причины, друзья, которые вам, по молодости лет, непонятны. . .

При этих словах старшеклассники многозначительно переглядывались и озирались по сторонам — не подслушивает ли кто-нибудь из педелей или педагогов.

Впрочем, и пятиклассники прекрасно знали, что в стране неспокойно, что в столицах выступают рабочие, что на фронте русские армии терпят поражение за поражением, что недовольных старыми порядками становится все больше и больше. . .

Месячной ночью на одной из окраинных улиц Горбатова поднялась беспорядочная стрельба.

Выстрелы сухо щелкали, разносились по пустынным улицам, вызывая неистовый собачий лай.

Отцы открывали форточки, прислушивались к пальбе, матери гасили лампы, проверяли затворы, зажигали лампы. . .

Петька поднял голову при первом выстреле. Он уже засыпал было на козлах, но ехать домой не решился, — в кармане за день осели только два двугривенных, не купить даже коню овса. . . В расчете на запоздалого пассажира Петька стал у присутственных мест.

За выстрелом следовал выстрел. Петьку разобрало любопытство. Он стегнул коня, и бричка затарахтела по булыжникам.

Из-за угла, гремя шпорами, вылетел человек, сразбегу вскочил в бричку, крикнул:

— Гони! — и заерзал, умациваясь на сиденьи.

Не было времени раздумывать. Уже находу Петька узнал пристава Майстряка и сообразил, что заработок его не увеличится. . .

Скакали к Сенной площади, к полю — на отгремевшие выстрелы. Улицы опять затихли. У купеческого клуба обогнали бежавших гуськом городских. В коляске с фонарями пролетел Салтан. Городовые стали во фронт и побежали еще быстрее.

Коляска свернула на Парадную. Петька правил за нею. В угловой аптеке металась тень. Перевернувшись вниз головой, они врывались в разноцветные стеклянные шары на выставке. Черные силуэты в зеленом, красном и синем крутах прыгали как на резинках. Лошадь и бричка проплыли в зеркале банковского подъезда под одиноко горевшей лампочкой.

Майстриук внезапно матерно выругался. Петька испугался и стегнул лошадь.

По улице шел пьяный, распевая:

Ваш любимый куст  
Хризантем расцвел...

Коляска свернула на Сухую. Петька за нею. Еще поворот — и вот тихая, вся в темных садах, Зеленая улица. В конце ее мечется на ветру пламя двух-трех факелов. Там толпа.

Петька узнает — это усадьба Львовского, отставного архитектора. Петька сам не раз возил сюда сухого, легкого старичка, опиравшегося на палку крепче, чем на свои отслужившие ноги. Но старика давно уже не видно, и в усадьбе живут чужие.

За усадьбой сразу поле. Полю и днем не видно конца. Оно всегда колышется и гонит, гонит свои волны к далекому синему лесу.

Но теперь, ночью, за красными озерами факельного пламени — лунная мгла.

— Тут стой. И ни с места! — крикнул, спрыгивая с брички, Майстриук. — Какой твой номер?

Петька отъехал к забору. Тут же рыли землю исправничьи серые рысаки. Поодаль истуканами стояли кони

пожарной линейки. Петька подвязал лошади торбу с овсом и себе в карман насыпал овса — хлеба не было с утра.

Ворота нараспашку. У входа в усадьбу сторожил городской. Майстрюк прошел в дом. В одном окне не было стекол. В окнах бегали тени от беспокойно горевших на сквозняке свечей. Усатые люди в прямых фуражках, с револьверами на боку, бродили по дому. Из него несло гарью. Жидким полукругом толпились у ворот привлеченные шумом и факелами соседи.

Петька быстро грыз зерна и жадно слушал.

— И не трое, а двое. Он и она. Приезжие.

— Она — беленькая, тихая...

— А он очкастый. Бритый.

— ...И чатыри чимодана бомбов.

— ...А он как разбил дверь, ему в грудь и бахнули.

— ...А пристав в кусты... и оттуда палить!

— ...А городской теперь ни за что, ни про что в аптеке помирает.

— ...Не лезь, значит...

— ...Служба такая...

— ...Неважная служба...

— ...Сам выбирал.

Петька скоро без расспросов понял, что здесь в усадьбе жили студент и курсистка из Киева. Готовили бомбы. Полиция совершила ночной налет. Но террористы решили не сдаваться. Во время перестрелки студент убил городского, а пристав застрелил девушку. Студента забрали и связанного повезли. Нашли в домике и бомбы, и динамит, и литературу.

Уже погасли факелы, и над городом серела заря, когда Майстрюк опять тяжело взгромоздился на Петькину бричку. С ним рядом уселся коротенький, пузатый помощник.

— По домам! — скомандовал Майстрюк. — Живо!

«Живо» никак не выходило. Петька делал вид, что больно хлещет коня. Конь вздрагивал боками, делал два энергичных шага и переходил на излюбленную, изводящую трусцу.

— На тебе бы по смерть ехать, — кисло сострил помощник.

«И ехал бы», подумал Петька, но не сказал.

— Начались и у нас события, — резюмировал Майстриук.

— Да, теперь держись.

— А этот скубент целый?

— Был целый, а каким доедет?! Очень уж ребята за Андрейчука злы. Побьют, я думаю.

— И нельзя не дать.

— Я бы теперь на все наше пейсатое купечество контрибуцию взвалил — взвыли бы и сынков попрдержали. . .

— Да ведь бомбист-то русский.

— От них зло. . .

— Контрибуция — контрибуцией, а всыпать, я вижу, надо. Накликают на свою голову. Ну, я приехал.

У присутствия слез и помощник.

— Заплатили бы, ваше благородие, — сказал, снимая шапку, Петька.

— Тебе платить? — пропъешь еще. . . — вступил на крылечко помощник. — Ты чей? Стеценкин? Скажи отцу — поговорим. . .

Петька при сизо-фиолетовом небе въезжал во двор. На стук колес вышел отец, помочился у забора, раскочиваясь подошел к пролетке и заехал сразмаху Петьке в ухо.

«Пьян. . .» — подумал Петька. Трезвым отец никогда не дрался.

— Чё дерешься, — тихо сказал он. — Полиция гоняла.

— Заплатили?

— Помощник сказал — с тобой поговорят.

Старик молча плюнул. Взял два двугривенных, покачал на ладони и пошел в дом.

«Пропьет», решил Петька, и стало жалко мать и себя. Ковыряло в горле, и слезы сами просились на глаза. . .

На похороны городского, как на зрелище, собралось множество любопытных. Во главе рядами шли представители союза русского народа, несли хоругви, служили сразу три священника и сонм дьяконов.

Когда процессия шла мимо большой табачной фабрики, кто-то с крыши бросил в союзников тухлое яйцо. Хулиганы ворвались в фабричный двор и избили несколько работниц, которые даже не знали, за что их бьют.

На другой день в знак протеста вышли на улицу с красным знаменем рабочие большого сахарного завода. Полицейские не пустили рабочих в центр города, а акционерное общество закрыло завод и распустило рабочих. До сахароваренного сезона было еще далеко. Можно было сократить летние расходы.

Петька рассказал гимназистам, как он возил Майстрюка. Оказалось, он видел, как стрелял из-за кустов пристав и как выносили мертвого Андрейчука из аптеки.

Гимназисты завидовали очевидцу, и Петька продолжал гордо наворачивать новые и новые подробности. Все это было так легко вообразить. Ночь лунная, и факелы, выстрелы, красные шары аптеки, и бегущие гуськом городские. Он мог бы поклясться, что видел все от начала до конца. . .

В гимназии попрежнему не полагалось говорить о политике. За разговоры о «9 января», о забастовках, баррикадах — можно было «получить документы».

Старшеклассники собирались на квартирах товари-

щей и за городом и без конца говорили на политические темы. Малыши с тревогой и острым любопытством прислушивались к разговорам старших, чувствуя, что вокруг творится что-то необычайное, но все еще не улавливая истинного смысла и размаха событий.

Старик Алфеев, получив обратно Бокля, долго искал на полках, что бы такое еще дать гимназистам.

— Может быть Спенсера? Нет... Рано еще... — отвечал он сам себе. — Дарвина вам нельзя... — концом желтого пальца он почесал огромную шишку, которая украшала его сухое, старчески-блеклое лицо.

— А почему нельзя Дарвина? Имя Дарвина нередко употребляют в разговорах старшие. Ведь Дарвина надо читать.

— Для чтения учеников гимназии не рекомендован... К тому же он труден. Вот разве Геккеля «Мировые загадки»? Это — ученик Дарвина.

— Мировые загадки! — затаив дыхание, воскликнули одновременно Андрей и Ливанов. — Милый Иннокентий Порфирьевич! Это наверное очень интересно. Дайте «Мировые загадки». Пожалуйста, дайте!

«Мировые загадки» едва не стали причиной провала Андрея и Ливанова по латинскому языку. Перед ними раскрывалось таинственное небо. Умный старик говорил о красоте водорослей, уничтожающе смеялся над легендами церкви. Величие воинствующей науки захватывало дух, наполняло молодые сердца ненавистью ко всему отжившему, ветхому и отгнивающему. И несколько обязательных экзерцисов так и не были проделаны читателями «Загадок».

«Мировые загадки» совершали ежедневные путешествия на кладбище вместе с латинскими учебниками, но строки Цезаря казались поблекшими травами на забытых могилах, как только раскрывалась первая страница «Загадок».

— Какие, оказывается, есть книги! — говорил Андрей. — А мы, как идиоты, изучаем эти паршивые аблативусы абсолютусы, законы божьи с дурацкими текстами и идиотским писанием.

И, подражая шепелявому голосу псаломщика, он нараспев затянул:

Господи, скую отрыгнул мя еси...

Глаза мальчика разгорелись. Он топнул ногою и запустил латинской грамматикой в ограду ближайшей могилы.

— Что ты разошелся? — успокаивал его Ливанов. — Латинская грамматика не виновата... А я убежден, что есть еще и не такие книги. Неужели ты до сих пор не понял? Ведь нас учат вовсе не тому, что нам действительно понадобится в жизни.

— Так за каким же чортом мы ходим в эту гимназию? Кому это нужно?

— А аттестат зрелости?! Без аттестата не попадешь в университет. А без университета не дадут службы. Если бы я был богатым, я бы ни за что не учился в гимназии. Я бы поехал за границу и там учился бы у лучших профессоров.

— Но кому это нужно, я не понимаю? Кому нужно, чтобы люди выходили неграмотными, глупыми, необразованными?

— Не знаю... Должно быть, от нашей некультурности... Говорят, за границей совсем другая школа...

— Как другая? — возразил Андрей. — Женька Керн рассказывал, что в Германии точно так же учат и закон божий, и латинскую грамматику. А для женщин высшего образования совсем нет. Женское высшее образование, говорят, лучше всего поставлено в России и в Америке.

— Может быть Женька плохо знает?

— Не думаю... Знаешь, Ливанчик, я как подумаю о на-

шей гимназии, так меня тоска охватывает. На уроках истории, географии я еще иногда слушаю. А остальные уроки!.. — я больше под партией читаю.

— А ты думаешь, по истории нам говорят все, что нужно? Вот я, например, хорошо знаю, что Павла I задушили, что Петра III убили, что Николай I отравился. А у Елпатьевского написано: «в бозе почили». А вот возьми крымскую войну или русско-турецкую. Разве по Елпатьевскому разберешь — кто победил, почему победил? Выходит, что русские всегда побеждали. А на самом деле в девятнадцатом веке нас били и били, и вот сейчас бьют, а в истории наверно напишут, что мы и японцев разбили. Я тоже люблю историю, но иногда хочется бросить все это и не читать, и не учиться. Все равно не знаешь, где вранье, где правда.

Дарвина Алфеев так и не дал гимназистам. Но затрепаннные томики Дарвина оказались в частной библиотеке Сагаловича.

Сагалович, разорившийся книжный торговец, брал втрое дороже городской библиотеки, но у него среди трехсот-четырёхсот книжонок ходких писателей попадались и запрещенные книги. Своим таинственным видом он повышал цену этой полулегальной литературе. Здесь не было ни Горького, ни Короленки, ни Чехова, ни Толстого. Истрепанные томики Рокамболя, Поль де Кока, Крестовского составляли ядро библиотеки. Среди них, как острова в океане, плавали несколько книг, спрашиваемых молодежью другого порядка.

Перелистав каталог — замусленную трехкопеечную тетрадь в синей папке, Андрей сказал:

— А почему у вас, господин Сагалович, нет серьезной литературы?

— Серьезной литературы? — сделал удивленное лицо Сагалович. — Что значит серьезной? Здесь — все серьезные книги. Огромный спрос. А вот вы же нашли Дарвина?

— А что есть, кроме Дарвина?

— Ну, мало ли что есть? А что вам нужно?

— Политические книги у вас есть?

— А где теперь нет политических книг? И у меня есть.

— Разве? — обрадовался Андрей. — А вы нам дадите?

— А вот я посмотрю... когда вы принесете Дарвина...

Тогда, может быть, и дам.

Через неделю Андрей и Ливанов получили «политическую книгу». Это была «История государства Российского» некоего Шишко.

Книжка была проглочена в один вечер. Наивные откровения этой «Истории государства Российского» только подзадорили гимназистов.

— А еще, господин Сагалович? У вас, вероятно, есть еще что-нибудь?

— Ну, конечно, есть... Если вы дадите слово, что быстро вернете книжку и никому больше не покажете, я вам дам.

Сагалович вышел из-за прилавка на улицу, посмотрел по сторонам и из какого-то пыльного ящика достал сравнительно новую, еще не затрепанную книжку.

— Ну вот, читайте.

Андрей раскрыл первую страницу.

— Карл Маркс, — прочел он вслух, — «Капитал в изложении Карла Каутского».

— Тише, тише, — сказал Сагалович. — Зачем вслух? Возьмите себе домой и там читайте, сколько влезет. Теперь эту книжку все читают. Весь ваш седьмой класс прочел.

Андрею показалось, что он несет с собой волшебную шкатулку, которую стоит только открыть, и оттуда посыплются чудеса, подобные чудесам тысячи и одной ночи. — Это, вероятно, настоящая политика! — говорил он Ливанову. — Будем опять читать вместе. Чорт с ними, с экзаменами! Осталась уже самая ерунда. История, география... Можно жарить без подготовки.

— Может быть пригласить еще кого-нибудь читать совместно?

— Вот тебе на! Мы же обещали Сагаловичу никому не говорить о книге.

— Все-таки, я думаю, что Мишку Гайсинского следовало бы позвать. Его незачем бояться.

— Раз дали слово, надо сдержать.

Решено было читать Карла Маркса вдвоем на кладбище и в комнате Андрея так, чтобы никто не увидел книги.

Отец Андрея, удивленный необычайной усидчивостью сына перед легким экзаменом по истории, как-то вошел в комнату и спросил:

— Ты же хорошо знаешь историю. Что ты зубришь?

— История — такой предмет, который чем больше учишь, тем больше хочется знать, — многозначительно ответил Андрей.

Мартын Федорович недоуменно пожал плечами и удалился в свой кабинет.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Доигрались, сволочи! — злобно буркнул Мартын Федорович и плюхнулся в кресло, тяжелым треном стоявшее у накрытого стола.

— А что, папа... в чем дело? — спросил Андрей.

Но Мартын Федорович не ответил. Он поставил, — чего с ним никогда не случалось, — локти на стол, голову опустил в раскрытые ладони, смотрел в дальний угол и говорил вполголоса, про себя:

— Какой позор, какой позор! Никогда в истории... ничего подобного...

Смятый газетный лист упал на пол с колен Мартына Федоровича.

Единственный гость за столом, уездный священник, отец Василий Кащевский, посмотрел непонимающе на Кострова, крякнул и потянулся волосатой ручищей к запотевшему графинчику. Не встретив поощряющего жеста хозяина, он отдернул руку и забарабанил тупыми пальцами по столу.

Мартын Федорович продолжал сидеть недвижно, Матильда Германовна, поднявшая было крышку у суповой вазы, опять осторожно опустила ее на место. Сложив руки, она выжидающе смотрела в глаза Мартыну Федоровичу. Струя пара расплывалась над столом в легкое облачко и щекотала обоняние проголодавшихся детей. Сергей нетерпеливо царапал ногтем накрахмаленную скатерть.

Отец Василий кончил стучать пальцами, а Мартын Федорович все еще сидел недвижно. Глаза его потемнели, большой близорукий зрачок стал мутным. Это было заметно даже сквозь дымчатые стекла золотых очков. Плечи опустились, и витые эполеты обвисли.

Было странно теперь смотреть на Мартына Федоровича.

Эполеты, петлички и пуговицы, как и крепкий отложной воротник, требовали спокойного, уверенного выражения лица, олимпийского чиновничьего величия.

Андрей потихоньку тянулся к газете. Пальцы коснулись бумажного листа. Лист залпелестел. Андрей отдернул руку и взглянул на отца. Но Мартын Федорович не двинулся. Тогда Андрей смело взял газетный лист и разгладил его на коленях.

Газетные полосы не кричали сегодня никакими заголовками, никакими особенными событиями.

Только в правом верхнем углу за рантовкой, словно в траурной рамке, стояло официальное сообщение о «торжественном дне годовщины коронации в городе Санкт-Петербурге его императорского величества государя императора Николая II».

Все четыре страницы газеты просмотрел Андрей и опять вернулся к первой полосе. В верхнем углу тускло стлалась передовая статья, разверстанная колбасой.

Без заголовка, под курсивной датой «14 мая», тяжелыми внушительными словами начиналось повествование:

«Великое несчастье обрушилось на нашу страну...»

Суп стыл. Отец Василий суетливо разыскивал в кармане рожок с пенсне, а Андрей, не отрываясь, забыв о супе, о пуговицах отца, обо всем на свете, читал статью. Выспренным языком сдержанно рассказывала монархическая газета о том, как погибла у острова Цу-

сима вторая тихоокеанская эскадра под водительством адмирала Рожественского.

«Князь Суворов», «Бородино», «Орел» — высокобортные броненосцы — вставали перед глазами Андрея так, как изображали их в те дни на миллионах открыток. Многотрубные корабли в облаках дыма, в огненном ореоле, бросающие куда-то вдаль пламя и металл, с пушками, похожими на вытянутые хоботы слонов. Они поднимались в воображении где-то там, на седых волнах никогда не виденного моря, у каких-то островов с непонятными названиями. . .

Мальчики бегают по гимназическому двору, крепко притиснув локти к бокам и выставив вперед тощие кулачки.

— Я — крейсер первого ранга «Варяг»! — кричит маленький второклассник. — Ты — японец! Защищайся!

Кулачки впиваются в бок подвернувшегося противника, и вот-вот начнется бой, от которого страдают гимназические курточки и лакированные кушаки.

— Я не согласен. Я не японец! — кричит противник, вяло защищаясь. — Я — крейсер первого ранга «Баян»!

Сбоку надвигается величественная фигура третьеклассника Степы Куманова.

— Р-р-разойдись! — рычит он уже издали и, выпятив грудь и наглухо втиснув полный подбородок в воротник, врывается в битву.

— Я — броненосец «Ретвизан»! Я самый сильный. Я обращаю вас в бегство. . .

Но «Варяг» и «Баян» объединяются и отказываются обращаться в бегство.

— Пошел вон! — кричат они «Ретвизану». — Тебя никто не трогал, и ты к нам не лезь. Тоже — «Ретвизан»! Подбитый броненосец!

— Струсил? — презрительно бросает «Ретвизан» и мчится в сторону, стараясь не задеть четвероклассников и пятиклассников, которые не дадут спуску и могут наградить неловкого «Ретвизана» оплеухой на ходу...

...«Цесаревич», «Аскольд», «Алмаз» разметаны военной бурей по чужим портам. Другие присоединили свои стальные тела к затынутым илом вековым кладбищам кораблей на дне океана...

Русская слава! Венок из побед и завоеваний, сотканный Рождественскими и Иловайскими. Деревянные палубы! Корабли-тихоходы!.. Отсталая страна, — как говорит новый историк Марущук...

Костров соображает — победа над Японией больше невозможна. Самые героические сражения на суше не могут привести русские армии в Японию. «Англия Дальнего Востока» теперь неуязвима на своих островах. — Ну, что вы думаете?.. Разливайте суп! — раздался резкий голос Мартына Федоровича.

Матильда Германовна вздрогнула и со стуком сорвала крышку с суповой миски.

— Брось газету, за столом не читают! — буркнул в сторону Андрея отец. — Ничего интересного нет. Били, били, ну, и еще раз побили...

— Но что же будет? — спросил Андрей.

— Что будет? Революция будет... Так дольше продолжаться не может...

Отец Василий взметнул рукавом и закрестился, шепча:

— Господи, спаси благочестивые и услыши ны...

— Россия — отсталая страна, многие ждут революции... — бросил Андрей, глядя на священника ненавидящим взором.

— Что? — перестал вдруг есть Мартын Федорович. — Откуда это?.. Отсталая страна и все такое? Это что, у

вас в гимназии преподают? Что ты понимаешь в революции, и кто это ждет революцию? Народ — это зверь. Если этот зверь сорвется с цепи, он будет страшен.

— Воистину зверь,—согласился священник.— Не дай господи! — заключил он, опрокинув в рот высокую стопку.

— А французская революция?..

— Что ты знаешь о французской революции? Что Корде убила Марата и что Конвент казнил Людовика Шестнадцатого? А ты о сентябрьской резне знаешь что-нибудь? А о терроре вам в гимназии рассказывали? Наша революция почище номера покажет. — Мартын Федорович опять принялся хлебать суп.

Графинчик убывал, но разговор за столом не складывался. Это совсем не устраивало отца Василия. Не затем он приехал в город. Событие, конечно, значительное. Но не погибнет же от сего бедствия держава Российская! А тут дела стоят.

Под широкой и неопрятной рясой отца Василия Кащевского, в теле большом и тучном, билось сердце пронырливого коммерсанта. О богословских вопросах он не размышлял, хорошо пил водку, обедни и панихиды служил по-деловому, громко, коротко, но всей душою был в своем маленьком хозяйстве и в хитроумных операциях, которые начинались и проваливались десятками.

Он заводил голландских кур, строил крольчатники, выписывал грену, скупал железный лом.

Получая за требу, он всегда прикидывал — хватит ли ему на все комбинации. Если давали на рубль или на полтинник меньше, становилось до-смерти обидно. За полтинник он готов был пуститься в драку. Ведь тем самым нарушался составленный бессонными ночами, такой выношенный расчет... .

Это был связанный рясой и бедностью по рукам и ногам мелкий фермер, мечтавший о городской суете и городских спекулятивных возможностях. Смелости у

него было больше, чем выдержки. Он находу ловил слухи о блестящих деловых комбинациях, метался и безумствовал, отыскивая пути и выходы к денежным тузам и воротилам, в банки и кредитные общества.

Кострова он одолевал просьбами о рекомендациях и поддержке.

Теперь его занимала мысль об одной грандиозной аванюре. Он прослышал, что крупный могилевский помещик попал в затруднительное положение и намерен продать строевые леса в верховьях Днепра.

— За бесценок пойдет, — громогласно уверял отец Василий, дыша в лицо собеседнику. — А лес, лес! .. дерево к дереву. Купить — и все сразу под корень! — Он ронял выразительным жестом стакан и, не смущаясь, кричал. — И в плоты! И на юг! Все на юг, к Екатеринославу. Знаешь екатеринославские, кременчугские цены?! Ну, вот. .. Обратный капитал только нужен.

Тут он припадал слоновыми плечами к спинке стула. Обратного капитала у отца Василия не было. Это и было единственное трудное место.

Крючковатый, могущественный нос черными волосатыми жерлами ноздрей глядел в потолок. Липкая гривка редких волос спадала как раз на жирные пятна на плечах. Ноги в сапожищах ерзали под столом. Он сопел и долго крутил папиросу. ..

— Есть же деньги у людей! — стучал он негодуяще кулаком. — Тут процент — ю! — он расставлял ручки на всю комнату. — Только привлечь надо. ..

Но, выпив «до слез», он забывал о делах. Достигнув таким путем душевного равновесия, он подсаживался к роялю и часами брэнчал, напевая старинные украинские песни.

Увидев, что с Костровым сегодня не договориться, и покончив со вторым графинчиком, он перебрался к инструменту и низким басом запел:

Гнавсья кнѣми засидатель  
На чю сь бѣду, —  
Заломывсья середь ставу  
На тонким лѣду...

Матильда Германовна подставила ему на шатком столике чай, лимон и сахар, а Мартын Федорович, поднявшись, буркнул:

— Ну, я на полчаса... на боковую...

И ушел в спальню.

Отец Василий, прищурившись, смотрел на свернувшегося в углу дивана Андрея.

— Учишься? — спросил он, не переставая напевать.

— Учусь.

— Ну, учишь.

Могучий аккорд, от которого содрогается рояль.

Пропев еще два куплета, отец Василий густо высморкался и опять спросил.

— Котельников Васька в твоём классе?

— В моем. А что?

— Счастлив, сукин сын. В люди выйдет. Пойди, угадай...

— А что?

— Вот то... это самое... Из нашей деревни... А где живет?

— На квартире.

— А кто платит?

— Отец наверное.

— Ха-ха-ха! — захохотал священник и даже перестал петь. — Этот заплатит. В одном кармане вошь на аркане...

— А кто же платит?

— Много будешь знать — состаришься. А то, может, и отец. Ха-ха! Только какой?

— Отец Василий, — перебила Матильда Германовна. — Ведь Андрюша еще мальчик...

— Мальчик, — запыхтел папирской священник. — Наверное за девками стреляет.

Андрей, вспыхнув, вышел из комнаты.

— Ну, вот видишь, загорелся парень. Ну, и хорошо, — поднялся поп во весь свой невероятный рост. — Матильдушка! — облапил он экономку. — Так как же? Переходи ко мне... Холить буду... Лес продадим...

— Сначала купите, батюшка.

— И купим, и продадим! — Мяткими пьяными губами поп слюнявил лоб Матильды Германовны.

— Пустите... увидят! И грех какой! — вырывалась женщина.

— Матильдушка, шалунья, пампушечка! — шептал отец Василий, с шумом пробираясь между стульями.

За стеной щелкнул нарочитый, сухой кашель Мартина Федоровича.

Матильда Германовна вырывалась ценою разорванного рукава.

— Матильдушка, так я ввечеру... дверку полегше... — шептал он с порога в темноту коридора. — Эх-ма! Как бы денег тьма! — вздохнул он и завалился на диван.

Он извлек из кармана список лиц, которых можно было бы привлечь к делу, покачал головой, спрятал бумажку поглубже, почесал брюхо и сейчас же уснул.

Крокетные шары носились из конца в конец утоптанной желтой площадки. Молотки щелкали звонко и четко. Хозяин, Женька Керн, раскрасневшийся, возбужденный, носился от товарища к товарищу.

— Прохожу мышеловку! — радовался Котельников.

— А я тебя по лбу! — выкрикивал Андрей.

— Мазилы! — издевался Ливанов и мазал сам.

— Эх, вы, шпингалеты! Смотрите, как надо рокировать.

Встрой черный в лоб через дужку!

Молоток Матвеева взрывал песок площадки, шар проделывал траекторию в воздухе и звонко щелкал по лбу второй черный. Матвеев играл в крокет виртуозно.

— Вот как надо бить — по-гусарски!

— Жаль, что твоих гусар под Мукденом не было, — съязвил Ливанов. — Впрочем, мастеров пятки показывать там и без них было достаточно.

— Дурак ты! Русские гусары никогда еще не бегали. Ты читал у Толстого, как русская конная гвардия под Аустерлицем атаковала французов?

— А ты еще что-нибудь, кроме боя под Аустерлицем, у Толстого заметил?

— Остальное меня не интересует, — сознался Матвеев.

— О славе российской армии сейчас лучше не говорить, — серьезно сказал Андрей, опершись на молоток и забыв, что его черед проходить мышшеловку. — Мы бесславно проиграли кампанию. Не следовало ее начинать. . .

— Мы еще сбросим японцев в море, — горячился Матвеев.

— Как бы японцы не сбросили нас в Байкал, — вмешался Ливанов.

— Вы — не патриоты, вы — слюнтяи! От первой неудачи уже раскисли. Если бы в России все были такие, нас бы давно уже прибрали к рукам. Мне стыдно, что у меня такие товарищи. . .

— А нам, Матвеев, стыдно, что среди нас есть еще такие меднолобые битюги, как ты.

Матвеев вскипел. Его маленькие глаза сделались злыми, как у рассерженного хорька. Он весь собрался и напружинился:

— Вы все хотите прослыть либералами. Вы ни за царя, ни за жидов. Чорт вас знает, за кого вы стоите. Вот я ненавижу жидов так, что своей рукою душил бы. . . — Он сжал желтые зубы. — Все несчастья, все поражения, все из-за жидов. . . И из-за таких, как вы!

Андрей швырнул в сторону молоток.

— Сапа, уйди от нас. Противно слушать твои речи. Найди себе других товарищей.

— Ну и чорт с вами! Мне самому с вами противно.

Матвеев набекрень, по-казацки надел гимназическую фуражку, натуго затянул пояс и одернул диагональную курточку. Ни с кем не прощаясь, он пошел к выходу. Брелоки звенели, как шпоры.

— Нехорошо, что мы ссоримся с товарищами, — сказал Котельников.

— Теперь все ссорятся, — ответил Андрей. — Если есть из-за чего — надо ссориться. Не могу же я дружить с человеком, который хочет душить людей...

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В городе на кирпичных стенах, на заборах, на столбах — зеленые листы с большими черными буквами:

### П Р И К А З

Прохожие останавливаются, водят пальцами по жирно отпечатанным строкам, топчутся на месте, идут дальше. Иной начнет читать торжественно, по складам, первые строки, а затем заскучает и, пропуская текст, прямо переходит к подписи:

*Воинский начальник, полковник Яблонский.*

Высокая старуха в платочке переложила из руки в руку плетенку, из которой глядели хвосты свеклы, брюквы, сельдерея, и прилипла к красной стене духовного училища, тоже украшенной зеленым листом приказа.

— Опять народ в Манчжурию погонят. Конца-краю нет. . .

— Чего-чего, а народу у нас хватает, — сообщил широкоплечий мужчина в фартуке, какие носят мясники и зеленщики.

— Тебя, толстомордого, как это не забрали до сих пор? — вмешалась рыхлая булочница с ситцевым животом в муке.

— До меня не дойдет, — улыбнулся во все лицо человек в фартуке. — Я — белобилетник.

— По харе тебе само на войну идти. Тебя алонец спужается.

— Небось, воинскому взятку дал, — исподлобья посмотрел на него рабочий.

Белобилетник быстро смахнул с лица улыбку.

— А ты прикрылся бы, приятель. А то я тебя за воротник, да к господину городовому.

— Эх тебя к господам тянет. А мы на господ давно... положили...

— А жидов что, тоже призывают? — выскочил из аптеки парнишка с рыжим чубом, без шапки. — Они, небось, все — белобилетники.

— Ничего, макаки всем шимозу пропишут. Вернетесь ученые, — буркнул рабочий. Он плюнул, надвинул на глаза картуз и пошел в сторону.

— Ой, бить бы надо, ой, бить надо!.. — закачал головой белобилетник. — Да некому.

— А ты, парень, не горюй. Если бить охота, валяй за мной. Я тебе покажу дорогу, — сказал рыжий чуб и потянул белобилетника за рукав.

— Довольно наблюдать базарный патриотизм, Андрюшка, пошли лучше в Народный дом, — предложил Ливанов. — Там собрание будет. Твой палахен не участвует?

— Что ты, заболел? Рискнет репутацией, но не пойдет.

— А мой попер самосильно. Шелковую рясу надел, надушился, умаслил голову елеем и двинул. Собирается ораторствовать. Из Киева сам Анатолий Иванович Савенко пожаловал. Говорят, разговаривает — плакать, смеяться будешь. Талантливый пройдоха.

— А он искренно?

— Андрюшка, а мы с тобой — настоящие революционеры. Анатолия Ивановича Савенко не уважаем!

Андрей расхохотался.

— Андрюшка, а что если пойти к Марущuku домой да и побеседовать с ним по душам? Теперь каникулы, он — все равно как не педагог, а мы — как будто не гимназисты.

— Интересно, почему это тебе пришло в голову?

Разве гимназистам нельзя беседовать с преподавателем? — А разве бывает, чтобы гимназисты ходили к преподавателям для бесед? — скажи сам.

— Положим, верно. Но мы этого как-то не замечаем.

— Да еще Марущук — и педагог какой-то подозрительный. . .

Народный дом стоял на неразъезженной, поросшей травой, площади перед кладбищем. Через высокий серый забор видны верхушки качелей, гигантских шагов и гимнастических трапеций. Бордовые платки, зеленые юбки, девичьи ленты цветным каскадом взлетают над частоколом, секунду постоят в воздухе и опять пропадают за забором.

Народный дом — это дань «отцов города» либеральной эпохе. Нужно же заботиться о народе. Нужно отвлекать его от забот и нужды. Все средства для этого хороши: и крестный ход ночью при огоньках, и дешевые балаганы и качели, и буфет с казенным вином и селедочными хвостами, и крикливая ярмарка с копеечными коврижками и каруселью.

Дань была скудная. Длинный низкий зал — кишкой, без украшений, с тяжелыми скамьями без спинок. Стены сыплются и пачкают, низкие окна в толстых стенах напоминали крепостные казематы. Потолок навис над сценой, — кто повыше из актеров, все считали долгом потрогать его рукою. Вентиляции не было, и потому, когда в зал набивалась толпа, летом и зимой, здесь было душно, как в кабаке.

Разумеется, для монархического собрания можно было найти в городе место получше — большой театральный зал или залы дворянского и купеческого собраний, но организаторы митинга предпочли неудобный и тесный Народный дом. Русский христоролюбивый и царелюбивый народ сам должен засвидетельствовать свою сыновнюю преданность царю.

«Народ» пожаловал в изобилии. На качелях с визгом и хохотом качались девчата, пестрые, как курицы, с длинными лентами в косах, и парни в сапогах-гармонь, в штанах, широких, как юбки. У входа на длинной скамье сели, словно подобранные, широкоплечие дюжие мужчины с буйными бородами и низкими лбами — лавочники и базарные торговцы, все члены союза русского народа.

Среди пиджаков и синих рубах изредка мелькали чесучевые сюртуки — летняя форма чиновников, синие околыши, белые военные кители и поповские рясы.

На крыльце в длинном купеческом кафтане с лысой головой стоял заправила городских монархистов — Андрей Степанович Кулеш, рядом с ним — соборный староста Никитенко, отец Давид Ливанов в нарядной шелковой рясе и еще два-три местных богатея — возжаки черной сотни.

— Кого они ждут? — спросил Андрей.

— Я ж тебе сказал, Савенку из Киева.

— А, и вы здесь, господа революционеры? — заорал вдруг над ухом Андрея вынырнувший из толпы Ленька Алфеев. — Только вас и нехватало.

— Чего орешь? — толкнул его локтем в бок Андрей: — видишь, оборачиваются?

Ленька показал язык соседу-приказчику с золотыми кудряшками и без всякого смущения продолжал:

— А кого же бить будут, как не гимназистов? — трепался Ленька. — У нас же студентов нет. На беспитичьи и поп — соловей.

— Ты уж больно востер на язык, как я вижу, парнишка! — сказал, поправляя шестрый галстук бабочкой, приказчик. — Как бы тебе по шалке не влетело. Ливоллюционеров нашел — от горшка три вершка. Мы, ежели бить будем... найдем побольше.

— А ты тоже бить будешь, дяденька? — спросил Ленька.

— Кого надо, того будем...

— А ты бы ехал японцев бить, если у тебя кулаки чешутся.

— А у тебя затылок не чешется, ражло, босяцкая твоя морда?

— От такого слышу.

— Эх, я тебя! — развернулся приказчик. Но Ленька нырнул ему под руку, находу смазал по загривку и, подпрыгивая и гикая, скрылся в толпе.

— Держи! — завопил приказчик. — Хриstopродавец!

Но толпа в этот момент задвигалась, загудела, слышался шум подъезжающей коляски, и единственный в городе парный извозчик — лихач Филипп — подкатил прямо с вокзала киевского оратора.

Оратор в сером наглаженном пиджаке и мягкой шляпе поздоровался с Кулешом, Никитенкой, Ливановым и другими видными горожанами и прошел не мешкая в зал. За ним потянулась толпа народу во главе с союзной гвардией.

Андрею и Косте так и не удалось проникнуть в зал. Ретивые слушатели даже в дверях поставили скамьи, забрались на них и всунули головы внутрь помещения, пытались услышать приезжего оратора.

Из переполненного испарениями зала долетали неясные, разорванные слова.

... святая Русь...

... престол...

... жида...

... поборемся...

... революция... —

выкрики, которые приезжий оратор бросал в переполненный зал с азартом, пафосом или деланным гневом.

Зал сопел, пыхтел, рокотал, утирал пот и отвечал оратору частыми репликами.

— Ни чорта не слышно. Не поймешь даже, хорошо он

говорит или плохо, — сказал с досадой Андрей. — Любопытно все-таки, о чем могут толковать эти зубры. — Не беспокойся, брат, такую философию разведут, что держись, — возразил Ливанов. — Ты бы моего папашу послушал. Начнет жарить текстами, потом философскими цитатами, а кончит обязательно по-матерному. Все как полагается — комар носа не подточит. А для такой аудитории что еще нужно?

В зале громко захлопали в ладоши, а когда шум затих, послышался высокий фальцет отца Давида Ливанова. — Братие! — надрывался священник. — Доколе поношение претерпим? Враг рода человеческого, диавол, простре крыла свои над нами, померкне солнце, и даже на престол царев паде тень.

— Ну, понес, — сказал Андрей. — О диаволе запел, хоть он и твой отец, Костя, а дурак.

— Ничего, Андрюша, я уже привык. Кончу гимназию, распрощаюсь и «до свидания» не скажу. А сейчас что же я могу сделать? Мне родителей на выбор не предлагали. — Да ты не сердись. Но ведь, правда, уж очень это что-то старомодное: «Крыло диаволово»... тьфу! Пойдем Костя, ну их к чорту!

— Катитесь, катитесь горохом по полю! — заорал на них какой-то союзник в картузе. — А еще гимназисты! Образованные!

Андрей хотел огрызнуться, но Ливанов потянул его за рукав.

— Брось, Андрюшка, нашел место. Видишь, бандит какой-то. Котлету из тебя сделает.

«Народ» повалил из зала гурьбой. Двое бородачей с георгиевскими медалями на штатских пиджаках тащили царский портрет, убранный бумажными цветами. Остановились на пороге, подняли, тряхнув бородой, портрет повыше и вынесли его на улицу.

Киевский оратор обмахивал вспотевшее лицо широ-

кополой шляпой. Почтенные граждане утирали лица и шеи цветными платками, в которые можно было завернуть пару сапог с пиджаком в придачу. На улице сразу скопилась толпа.

— Манифестацию! — крикнул кто-то из ораторской свиты.

— Манифестацию! — подхватила толпа.

— Ванифестацию! — вопили мальчишки. Они разезжали вокруг портрета на палочках и гоняли обручи, мотая кудлатыми, нечесанными головами в подражание Филипповским рысакам.

— Нифестацию! — кричал, прислонившись к забору, чей-то малыш, фыркая и брызгая слюной.

— Устами младенцев глаголет бог, — пропел, дирижируя перстом, отец Ливанов. — Во благо будет пройти с ликом царским и священными хоругвями по всему граду до днепровской пристани. Пусть тысячи присоединятся к патриотическому шествию.

— Что ж, неплохо, — снисходительно поддержал киевский гость. — Надо срочно составить телеграмму в «Киевлянин» о могучем патриотическом порыве граждан вашего города. Срочную. Заметка еще может попасть в завтрашний номер.

— Хорошо бы с упоминанием фамилий, — откровенно закинул удочку Никитенко.

— Обязательно, обязательно. Страна и престол должны знать видных патриотов.

Он вынул большую записную книжку в шагреневом переплете и начал писать на отрывном листе.

— Вот, пожалуйста. На телеграф, срочно. А вот деньги.

— Не извольте беспокоиться, Анатолий Иванович, — заезгил Никитенко. — Это уж мы обделаем на-зеп! Вы — наш гость.

— Ну, что ж. Дело ваше, вы — хозяйева, — согласительно улыбнулся киевлянин и спрятал бумажник.

— Надо послать людей в собор за хоругвями. Пусть встретят нас на площади, — предложил Ливанов.

По незамощенной, утонувшей в пыли, со следами пересохших луж, прямой жаркой улице двинулась небольшая толпа. Впереди несли портрет Николая в гусарской курточке и полковничьих погонах. На громоздкой раме горбом поднимался золоченый герб. Одна лапа у орла была отбита. За портретом, неестественно откинувшись назад плечами, обливаясь потом от тяжести хоругвей, шли союзники. Между ними вертелись мальчишки, которые то забегали вперед, то иглой шныряли между рядами. Дальше, по-военному, шагали члены союза русского народа.

Кроме союзников и мальчат, желающих купаться в родной пыли не было. Чиновники, женщины, гимназисты, военные — тянулись цепочкой по тротуарам, стараясь не попадать в поднятое грузными саложницами союзников облако пыли.

На одном из углов к манифестации подскакал на рыжей кобыле помощник исправника, местный лев и покоритель дамских сердец, Майский. Играя носками начищенных сапог, подбоченившись, он поехал впереди манифестации. За ним на жеребой кобыле, неестественно широко раздвинув ноги, передвигался коренастый городской с огненной бородою.

На Соборной площади толпа удвоилась. Здесь устроили легучий митинг и двинулись дальше. Теперь уже и некоторые чиновники сошли с тротуаров и присоединились к ядру манифестации.

Младший гимназический педель, Макарий Карпович Ярщук, повидимому решил, что настал и его час проявить усердие и показать себя. Он пылил посредине улицы, не жалея праздничных темносиних брюк, и то и дело забегал вперед, оборачивался лицом к портрету, поднимал руку с тросточкой вверх и кричал во всю силу легких:

— Да здравствует самодержавие!

Толпа ревела «ура!»

Затем Ярощук выкрикнул:

— Да здравствует его императорское величество государь император Николай II!

Толпа опять рявкнула «ура!»

На углу главной улицы Ярощук вновь вылетел вперед и неожиданно заорал:

— Долой жидов и социалистов!

Толпа ответила неистовым воем, свистом, хрюканьем, гулом голосов...

Почти мгновенно захлопнулись двери соседних магазинов. Некоторые чиновники и женщины на тротуарах повернули назад, стараясь сделать отступление незаметным.

Через минуту по всей Дворянской улице слышался железный шелест быстро опускаемых на окна жалюзи.

— У, гадюки, ховаюця! — завопил какой-то союзник.

— Ничего, достанем! — лихо выкрикнул Ярощук. — Из-под земли достанем.

— Андрюшка, неужели потасовка будет? — тревожно спросил Ливанов.

— А чорт его знает! Видишь, какое настроение у этой банды.

Манифестация спускалась теперь к Днепру по широкой мощеной улице между гимназией и городским садом.

— Смотри, Дуська, директор!

На балконе своей квартиры стоял директор в мундире с орденской лентой во всю грудь и махал манифестантам белым платком.

Ярощук сорвал с головы шалку, бросил в воздух и закричал «ура!» Но потом нашел, что этого мало, и завопил на всю улицу:

— «Ура» его превосходительству, господину директору!

Даже Савенко презрительно поморщился.

— Ну и обалдуй же! — возмутился Ливанов.

— Да, ничего себе... — ответил Андрей.

— Смотри, смотри, а там что?

Под балконом двухэтажного перенаселенного дома собралась толпа. Слышались крики:

— Какой квартиры? кто такая?

Андрей и Костя помчались к дому. Голова манифестации быстро шла книзу, но хвост почти весь задержался у дома.

— А кто видел?

— Вот гады!

— Перебить надо!

Возбуждение в толпе росло.

— Да в чем дело? — волновался какой-то парень без фуражки, со шрамом на лбу.

— Как что? Да она на манифестацию плюнула.

— Да кто она?

— Известно, жидовка.

— А кто видел?

— Раз говорят, значит, видели.

Дзз-зинь! — запел пущенный в окно кем-то из мальчишек камень.

— Бей! — заорали пьяные голоса.

Чье-то плечо в рваной замызганной рубаше врезалось в парадную дверь, и стекла звонким дождем посыпались на камни тротуара. Дверь визжала, скрипела под могучими ударами. Хрюснул ветхий замок, и петля одной из дверных половинок вылетела из гнезда вместе с винтами. Громяхая сапогами, союзники мчались теперь куда-то кверху. Пудовые кулаки громили квартирные двери. Доски хрустели под ударами, как тонкая фанера. Люди, готовясь ударить, злобно выли, звенела битая посуда, плакали хрустальные подвески столовых и гостинных ламп. И над всем стоял чей-то тоненький, тоненький, неживой, ненастоящий визг...

— Пойдем, Дуська, не могу я! Это что-то дикое. Пойдем скорее, — разнервничался Костя. — Какие бывают люди! Хуже зверей. . .

Гимназисты мчались вверх по улице. Мальчишки неслись им навстречу, улюлюкали, свистали, визжали, словно за волком летела стая гончих. Кто-то озорной, просто так себе, ломал палисадник у маленького дома. Стоял непрерывный свист, и рвало воздух женское взвизгивание.

Далеко внизу, у городской бани, заворачивала за угол манифестация. Сверху, из города, громко стуча копытами лошадей, звеня удилами и ножнами шашек, нестройной группой мчались пять городских. . .

Над домом уже поднимался столб черного, едкого дыма.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Дверь была обита клеенкой с зелеными плоскими гвоздиками, и на черном фоне резко выделялись две карточки, одна под другой. Верхняя — внушительная — медная, на которой прописными размашистыми буквами выгравировано:

СТАТСКИЙ СОВЕТНИК  
ИГНАТИЙ ФЕДОРОВИЧ  
МАРУЦУК

и нижняя — на белом ватмане, с модными рваными концами, древнерусской вязью:

*Софья Никандровна  
Маруцук*

— Э, брат, да он статский советник! — удивился Ливанов.

— Тоже чины! — сказал Андрей. — За выслугу лет.

— Положим, подозрительным статского не дают даже за выслугу лет. Немножечко придерживают за фалды. Папахен рассказывал со всеми подробностями. Помнишь «Плешь»? Он статского давно выслужил, а ушел в отставку коллежским.

— Ты что, все чины знаешь?

— В молодости изучал табель о рангах, — важно заметил Ливанов. — Но с годами приходит мудрость, и вкус к карьере теряется...

— При случае приобретешь с той же быстротой.

— Бывает, случается... — философски покачал головой Ливанов.

— А жене зачем отдельная карточка? — спросил Котельников.

— Это, брат, фасон! Это значит — я сам по себе, а жена сама по себе.

— Ну, звони, Андрей! Что вы митинг на площадке устроили?!

— Ой, ребята, — колебался Андрей. — Не знаю, что говорить будем. А вдруг как выкатится, да к нам: «Вам что угодно, господа?»

Дверь открыл сам Маруцук. У него на плечах, покачивая коротенькими пухлыми ножками в топочках, сидел двухлетний сын. Очки педагога съехали на самый конец не вполне римского носа, и прядь волос, священной обязанностью которой было прикрывать многообещающую плешь, мокрой тряпочкой упал на лоб. Не здороваясь, он закричал:

— Мариша! Возьми Борьку!

Борька быстро перекочевал с плеч отца на руки молодой красивой девушки в украинской рубашке.

Маруцук поправил воротник, посадил на место очки и прядь волос и, приняв позу и выражение лица, свойственные человеку, которого застали врасплох, сказал:

— Очень рад, очень рад! Люблю, когда ко мне заходит молодежь. Прошу в кабинет. — Он приподнял портьеру и показал гимназистам небольшую темноватую комнату.

В комнате стоял большой шкаф в стиле жакоб, наполненный книгами, кожаный диван, два кресла и письменный стол, на котором высились стопки ученических тетрадей, пудовый немецкий атлас и двадцать два тома Момзена в разных переплетах.

— Прошу. Занимайте места! — суетился хозяин. — Не угодно ли? — протянул он гимназистам кожаный портсигар. — Мы здесь, так сказать, в месте неофициальном.

Гимназисты курить отказались.

— Мы к вам, Игнатий Федорович! — начал Котельников.

— Так, так, слушаю, — пускал дым к потолку Марущук.

— Сейчас вокруг нас творится много странного и для нас подчас совершенно непонятого. Страна волнуется. . . Мы знаем это из газет. . . Даже в нашем городе происходят события. На Востоке у нас неудачи. А объяснить нам все это некому. . . Ну, вот мы и решили пойти к вам.

— Что ж, хорошо. Я очень рад, — продолжал пускать дым к потолку Марущук, не меняя позы. — Я очень рад!

— Нам кажется, — вмешался Андрей, — что вы лучше других, правильнее других понимаете события. Мы очень просим вас, расскажите нам, что это происходит и что же в конце концов будет?

Марущук долго тыкал недокуренной папиросой в пепельницу, повидимому о чем-то размышляя, затем засунул обе руки в карманы пиджака, посмотрел в окно и стал молча ходить из угла в угол небольшой комнаты.

Три пары глаз следили за выражением лица хозяина.

— Я думаю, — начал, наконец, Марущук, медленно роняя слово за словом, — с чего начать. . . Все это очень сложно и, конечно, может быть объяснено различно. . . Вот, например, вчерашние манифестанты объясняют все события весьма упрощенным способом.

— Жиды и масоны, — подсказал Ливанов.

— Да-да. Жиды и масоны, — подтвердил Марущук, взглянув искоса на Ливанова. — К сожалению, в числе манифестантов были и некоторые весьма уважаемые лица. . .

— Я и отец во взглядах не сходимся! — буркнул Ливанов, глядя в упор на давно не натиранный паркет.

— Так, так, — смущенно вымолвил Марущук. — Я имел

в виду не только вашего батюшку. . . Представители крайних правых течений смотрят на вещи весьма упрощенно. Они полагают, что масоны, которые существуют сейчас больше в воображении господ монархистов, на деньги иностранных банкиров-евреев стараются внести смуту в нашу страну. Это, конечно, не так. В стране у нас сейчас начинается настоящая революция, и причины ее лежат гораздо глубже. . .

Он подошел ближе к гимназистам и заговорил, придавая своим словам подчеркнутую решительность: — Я буду с вами откровенен. Вы, вероятно, слышали у себя дома, может быть знаете из газет, что сейчас многие в стране недовольны существующими порядками. Надо сказать прямо, все культурные интеллигентные элементы страны возмущены поведением правительства. — Он перешел на таинственный полупошопот. — Ведь страна на краю гибели. Нынешнее правительство показало свою полную несостоятельность. На полях Манчжурии потерпела поражение не русская армия, а русская система власти. Неподготовленность к войне — это первая непростительная ошибка правительства. Неумение организовать оборону находу — вторая. Неумение сплотить вокруг себя в ответственный момент все здоровые элементы страны — третья. Таких ошибок история не прощает ни одному правительству. Но наши министры не ответственны перед страной, перед парламентом, как это мы видим в демократических странах Запада. Министры ответственны только перед государем. Но государь — это ведь не правительство. Это, по существу, даже не человек. Это — символ власти. Ответственность перед государем, по существу, равна полной безответственности. Да-с. Так вот! Неудачи на фронте только вскрыли с большей ясностью тот факт, что страна уже давно переросла тот порядок властвования, который сохранился в России со времен средневековья, в то время как боль-

шинство европейских держав уже вступило на путь широкой демократии. — Он опять заходил по комнате. — Надо иметь, конечно, в виду и то, что наши нынешние порядки уже не способствуют развитию промышленности и сельского хозяйства. Лучшие земли принадлежат помещикам. Крестьяне страдают от малоземелья. Нищее крестьянство не в состоянии покупать товары, и поэтому промышленность не имеет в стране достаточно широкого рынка. Наконец, некультурность, неграмотность, религиозное ханжество, да мало ли еще что?! Словом, страна чувствует необходимость облить, переменить кожу, как меняют ее по весне змеи... Это, так сказать, художественный образ...

— А революция у нас будет?

Марушук подошел к окну и долго задумчиво смотрел на другую сторону улицы.

— Революция, собственно, уже есть... Бастуют рабочие. Крестьяне жгут помещичьи усадьбы. В целом ряде городов — восстания. Это ведь и есть революция. — Он повернулся к гимназистам. — Вопрос в том, как пойдет революция дальше. Сейчас еще не ушло время, когда реформами можно спасти и трон, и всю страну от мучительных потрясений. Если эти реформы будут даны, если мы получим ответственное министерство, — революция закончится победой народа. Это будет великая, победоносная, бескровная революция. Такая революция, о которой можно только мечтать! Но если события пойдут своим чередом, то кто может сказать, чем все это кончится...

— Игнатий Федорович, — перебил его Ливанов, — скажите, а вот Маркс пишет, что революцию сделают рабочие.

— Маркс? — удивленно протянул Марушук. — А откуда вы знаете, что писал Маркс?

— Мы читаем... — с важностью заметил Андрей.

— Что вы читаете?

— Капитал в изложении Каутского. Такая... толстая книжка.

— Ну и что же вы там поняли? — с усмешкой спросил Марушук.

— Поняли? Ну, конечно, некоторые детали непонятны...

— Но где вы взяли Маркса?

Гимназисты молчали.

— Да вы не бойтесь, — спохватился Марушук. — Я не допрос вам учиняю. Меня интересует, как такое редкое, кажется, заграничное издание, попадает в руки... ну... молодежи?

«Хотел сказать мальчишек», подумали одновременно все трое гимназистов.

— Видите ли, я не особенно рекомендую вам читать Маркса. Не то, чтобы я был против Маркса... Это капитальный труд, и познакомиться с ним рано или поздно необходимо... Но начинать следует не с Маркса. Вам следует сперва прочесть «Что делать» Чернышевского. Затем Степняка-Кравчинского — это и читается с большим интересом. Ну, затем следует прочесть Бокля, Дрейера, Карлейля, Сеньбоса. Ну, кое-что из философии, кое-что из беллетристики. Я могу помочь вам составить список таких книг. Не следует читать исключительно запрещенные книги, за которые может и нагореть. А главное, не следует зачитываться книжками одной какой-нибудь политической школы. Это не способствует развитию правильного мировоззрения. В ранние годы, когда мысль еще не приучена к критическому мышлению, чтение книг одного толка может привести к нежелательной узости и даже фанатизму.

— Скажите, Игнатий Федорович, — решился Андрей, — вы социалист?

— Теперь вы учиняете мне допрос, дорогие друзья, —

скорее скривился, чем усмехнулся, Марушук. — Видите ли... Что такое социалист? Мы все — социалисты. Мы все боремся за более высокие формы общественной жизни. Но ведь социализм каждый понимает по-своему. Есть много течений, которые называют себя социалистическими, хотя и не походят одно на другое. Я полагаю, что, прежде чем изучать социалистические теории, следует познакомиться с теориями демократическими. Как-никак демократические республики уже существуют, и с каждым десятилетием их становится все больше и больше, а социализм?.. — Марушук развел руками. — В наше время говорить о социализме — это все равно, что гадать на кофейной гуще. Нам нужно покончить с самодержавием, нужно развить отечественную промышленность, нужно дать крестьянам землю, нужно добиться грамотности. — Он оживился и говорил теперь, усиленно жестикулируя. — Вот наши задачи! Вот к чему должна стремиться революция.

— Игнатий Федорович, а на манифестации впереди всех шел Макарий Карпович и все время кричал: «Да здравствует самодержавие!» и «Бей жидов!»

— Какая мерзость! — брезгливо ответил Марушук. — Но что вы хотите от надзирателя? Полуграмотный недоросль!

— А зачем таких в гимназии держат?

— Что же, — с примерным вниманием стал рассматривать свои ногти Марушук. — С точки зрения нынешнего руководства нашей школы такие люди необходимы. Не всякий возьмется за выполнение таких малопочтенных обязанностей.

— Но наши учителя ему доверяют. Гимназисту не поверят, а ему поверят. Пожимают ему руку и говорят: «дорогой Макарий Карпович!»

— Ну, не все, разумеется. И кроме того это ведь чисто внешне. Неудобно же иначе. Впрочем, знаете, мы с вами

как заговорщики... Я веду себя не как педагог, не как представитель гимназического начальства, а как... ну, старший товарищ. Не хотите ли чаю? Мариша! — закричал он, высунув голову в коридор.

— Спасибо, Игнатий Федорович, — сказал за всех Андрей. — Не стоит беспокоиться. Мы пойдем. Мы очень много получили за этот час. Мы будем очень благодарны вам, если вы позволите нам зайти еще раз для такой же беседы. Мы подготовим вопросы и попросим вас разъяснить то, что нам непонятно в книгах или газетах.

Гимназисты встали.

— Пожалуйста, пожалуйста! — с распевом заговорил Маруцук, пожимая руки гимназистам. — Я всегда рад, всегда к услугам. Самое удобное — это по четвергам. В этот день вечерами я занимаюсь чтением журналов, которые получаю за неделю из Киева и Петербурга. Такой уж у меня порядок. — Он почему-то развел руками, словно извинялся за этот порядок. — Так вот часикам к семи, пожалуйста! Мы выпьем чайку, покалякаем. Ко мне заходит кое-кто из восьмого класса. Однако лучше не приходите большой компанией... Самое лучшее вот так, как сегодня, втроем, вчетвером. Вы понимаете?..

— Конечно, конечно, — кланялись гимназисты. — Мы обязательно придем. Будьте здоровы!

— А хорошо, что мы к нему пошли, — заявил Ливанов на улице с таким азартом, как будто гимназистам удалось совершить настоящий подвиг.

— Я думаю! — поддержал приятеля Андрей.

— Почему он все-таки не сказал — социалист он или нет? — спросил Котельников. — Он ведь так и не дал ответа.

— А ведь верно, — вспомнил Ливанов. — В нем есть что-то лисье. Говорит, и за собой хвостом метет: «я, мол, да, но вы не подумайте...»

— Это верно, — должен был согласиться и Андрей. — А может быть, он и социалист, но не хочет говорить об этом?

— Ну, да. Вон наш Гайсинский и то не отрицает, когда его называют социал-демократом. Только шипит: «тише, тише».

— Мало того, он гордится этим!

— А я думаю, Маруцук наш ничем не гордится, — неожиданно скептически резюмировал Котельников.

Гимназисты ничего не сказали в ответ.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Миша Гайсинский наблюдал манифестацию издали. Он спешил уйти от нее в лабиринт переулков Старого базара. Но от Святой Троицы на слияние с Соборной шла уже другая колонна монархистов и союзников, и, чтобы не встречаться с шествием и не снимать картуза перед портретом царя и хоругвями, Миша забрел на городской бульвар, который вытянулся по обочине холма напротив гимназии.

Длинная аллея чахлых деревьев и истоптанных, забросанных окурками газонов шла к обрыву, с которого открывался далекий вид на Днепр.

Сквозь просветы насаждений на бульвар глядела глухая с траверсами тюремная стена. День и ночь здесь шагала часовой. Тюрьма была полна политическими. Они запевали то буйные, то заунывные песни. Часовой переключивал в руках винтовку и сердито гнал любопытных слушателей.

На лавочках сидели парни и девчата, смотрели на нижнюю часть города, на Днепр, на полтавские луга и днепровские отмели и ловко щелкали семечками, устилая пыльную дорожку крупной шелухой «конского зуба».

Миша облокотился на низкий забор. Внизу по мощеному спуску к Днепру двигалась манифестация. Вот впереди красуется на длинной гнедой кобыле Майский. Вот выплывают из-за кирпичей гимназической ограды алые с золотом церковные хоругви, вот стая мальчишек,

снующих вокруг манифестации. С шумом, свистом, гиканьем кувыркаются они в пыли и энергично отыскивают в толпе «сицилистов», то есть тех, кто не снимает фуражки.

Манифестация прошла вниз по переулку и исчезла за стенами домов, повернувшись к бульвару облезлыми застекленными верандами, сарайчиками, птичниками, собачьими будками, неприглядными, засиженными и загаженными дворами.

Звон битых стекол внезапно прилетел на бульвар.  
— О-о, кто-то окошко благословил, — изрек парень с семечками.

Звон повторился.

— Второе! — парень перестал щелкать семечки.

— Третье!

Теперь уже все были у забора и смотрели вниз. Мужские голоса, крики женщин сразу перекрыли звон бьющегося стекла. Глухие, размеренные удары в дверь доносились снизу, как из подземелья.

— Э, да там целое сражение! — сострил молоденький чиновник с желтым кантом на новой фуражке.

— Спасите-е-е! — раздался воющий, надрывный крик женщин.

На заднюю веранду двухэтажного дома выскочила простоволосая старуха в разорванной кофте.

— Спас-и-те! Что ж это такое?!

Миша пальцами впился в забор. Что происходит внизу?

За плечами женщины встала серая тень. Дюжая рука оторвала старуху от окна и швырнула в глубину веранды. Крик оборвался...

Но уже весь двор двухэтажного дома затопила толпа...

Почти одновременно из окон верхнего этажа посыпались стекла. В черные дыры разбитых окон полетели

разодранные подушки и перины. Ветер понес множество белых и серых бабочек в соседние дворы, на зелени холма, на улицы, к Днепру...

С хрустом, плашмя легло на камни большое зеркало в деревянной раме. Расселся, растопырился, обнаруживая какие-то тряпки, сундук. Горшки, банки устлали двор дома осколками, стекляшками, черепками. Озорные мальчишки старались из окон попасть пивными бутылками в гуляющих на бульваре.

— Ой, добра сколько! — выкрикнул вдруг парень, щелкавший конский зуб. Он деловито высыпал остатки семечек в карман и, забыв о подруге, одним махом перелетел через забор и покатился вниз по зеленому откосу.

— Только тебя там нехватало! — крикнул ему вслед почтовый чиновник.

— Боже, боже, что делается! — мелко шептала какая-то старушка.

— Безобразие! — возмущался толстый акцизный. — Что смотрит полиция? Среди бела дня... в городе!

Миша Гайсинский больше не видел дома, осколков, щерящихся стеклянными зубами оконных дыр. У него перед глазами широко, как на качелях, колыхались и Днепр в песчаных берегах и большая массивная гимназия на вершине холма, и дома, и двери, и люди...

Кругом вздыхали, ахали, покачивали головой какие-то люди. Кто-то возмущался... Иные торопились отвернуться и уйти... Но никто не спешил на помощь...

Толпа хулиганов орала, пела, била, насилывала, вела себя по-хозяйски, по-пьяному, с возбуждающей уверенностью в своей безнаказанности.

«А если у Троицы то же самое?» — мелькнула мысль. Миша отскочил от забора и помчался сломя голову домой.

Но в переулке было тихо. Солнце с неколебимым усердием грело серую пыль. Собаки и кошки лежали на

досках крылец, и слюна стекала с красных лоскутьев собачьих языков, и хозяйски ходили по дворам женщины с ведрами, с корзинами и щетками.

— Что ты как угорелый? — спросил старик Гайсинский ворвавшегося в комнату сына.

— Па-па, там бьют!.. На Старом базаре. Женщин бьют! Стекла!.. Наверное кого-нибудь убили. . .

Старый Гайсинский отбросил коричневый пиджак, на котором он метал петли, и неловко соскочил со стула. Затеckшие ноги отказывались сразу повиноваться. Он согнулся в спине. Облокотился на стол. Большие серебряные очки сидели криво.

— Кого бьют?

— Евреев бьют!

— Ой, что ты говоришь? Ой, я так и думал. Закрывай скорей окна. Ой, что же делать? Надо спрятать чужой материал. . . Надо сказать соседям. Ой, я не знаю, что делать! — Старик схватился за голову. — А где Рахиль? Может быть, она у Шнеерсонов? Беги скорее, узнай. Пусть идет сюда.

Рахиль через окно разговаривала с мадам Шнеерсон, женой соседа-бондаря.

— Рахиль! На Старом базаре бьют наших!

— Ой, что вы говорите, — всплеснула руками мадам Шнеерсон и метнулась в комнату. — Борух, ты слышишь? . .

Через минуту слух о погроме разнесся по всему переулку. Во всех домах закрывали окна, запирали двери. Кто-то бегом уносил узлы вниз по переулку. Женщины тихо стонали, охали. Мальчики, сверкая белыми хвостами рубах в разрезах штанишек, помчались наверх к исправничьему дому, к церкви, чтобы следить, не идут ли погромщики. Гайсинский прятал в погреб под пустую бочку куски сукна, чужие костюмы, подкладку, утюги и ножницы,

Но в переулке из чужих появлялись только случайные прохожие, да старый водовоз Лейба, стуча распатанными колесами, промчался вниз к Днепру.

— Что ты летишь как сумасшедший? — кричали ему из окон маленьких домиков.

Лейба задержал лошадь.

— А что? А если мой рысак застоялся?

— Ты — скаженный. Зачем ты поднимаешь такой шум? А где погром?

— Погром? — удивился Лейба. — Какой погром? У вас наверное в голове погром.

— А ты знаешь, что было на Старом базаре?

Все наперебой старались рассказать Лейбе о том, что случилось на Старом базаре.

Но Лейба проехал всю Троицкую улицу, завозил воду господину Кириченко, что живет напротив исправника, и к мировому судье Воронову и ничего особенного не видел.

Вскоре из города пришел двадцатилетний сын бондаря Шнеерсона. Он был в самом центре города, видел издали манифестацию. Но ни о каком погроме он не слышал. Правда, купцы позакрывали магазины, но это так, на всякий случай. . . Молодой Шнеерсон старался казаться храбрым. Он снял пиджак, развязал шнурковый галстук и вошел в дом со словами:

— Мама, давай кушать, я голоден, как десять погромщиков.

В этот вечер в домах переулка у Святой Троицы не зажигали огней. Молодые и старые евреи спали, не раздеваясь.

— На сегодня миновало, — сказал старик Гайсинский, снимая пиджак. — Но кто знает, что будет завтра. . .

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Козьявка прикатил на паре вороных. Кучер круто осадил коней и сейчас же помчался обратно в Отрадное. Козьявка должен был ночевать у Салтанов. Были Лекины (Глеба) именины.

Вождя встретили дружным индейским криком «ва-о-а!»

Козьявка поднял руку кверху и с важным видом заявил:

— Привет братьям апахам.

— Ты — предатель! — завопил Салтан-старший, бросаясь к Козьявке. — Володька Черный издевается теперь над нами. Он говорит, что ты не являешься потому, что струсил, боишься встретиться с Васькой Котельниковым. Как хочешь, Козьявка, но сегодня мы должны взять реванш. — Успокойтесь, братья мои, — жевал Козьявка. — Мы сравняем с землей вигвамы сиуксов. Володька Черный забудет дорогу в свой собственный сад.

— Я повешу Володькин скальп на новый лакированный пояс, — сделал гордое лицо Салтан самый младший.

Фыркнул даже Козьявка.

Быстрые глаза разведчиков обшаривали сад Черных. Наблюдательные пункты были расположены на вершине высокого сарая, на голубятне, на зеленой крыше Салтановского дома, на столетней груше-дичке, которая через высокий забор щедро перебросила в сад Черных часть отягощенных плодами ветвей.

Затем сад и двор Черных были осыпаны дождем снарядов — в изобилии заготовленных гнилых яблок и груш. Но на территории врага было пустынно. Никто не появился в саду, никто не ответил на вызов салтановского отряда.

Звонко пела пущенная из черного арбалета настоящая, с острым наконечником, стрела. Она пронеслась над зеленым забором, пронзила листву вишен, слив и абрикосов и, дрогнув, вонзилась в перила открытой веранды дома Черных. Волк высунул лохматую голову из будки, собирался было залаять, но опять положил морду на лапы и замер в созерцании пустынного двора.

— Позор трусам! — продекламировал Салтан-имениник.

— Жаль, жаль, — почесал затылок Козявка, — я бы им наложил по первое апреля.

Но в этот момент на веранде дома Черных открылась дверь. Володька медленным шагом подошел к перилам и, облокотившись, посмотрел в сад. Взгляд его лениво прошелся по зеленым и остановился на индейской стреле, которая глубоко засела в дереве перил, задрав кверху оперенную часть. Володька усмехнулся и вновь вошел в комнаты.

Бомба, граната и шрапнель одновременно разорвались на территории веранды. Шрапнель — зеленый помидор — оставила мокрый след на столе, бомба — незрелое яблоко — взрыла песок, а граната — крепкий, как камешек, ренглот — попала в стекло.

— Здорово! — в один голос заорала салтановская армия.

Но Салтан-старший был недоволен.

— Говорил — не бить по окнам! Будут теперь разговорчики с папашей.

Но Володька опять вышел на веранду. На отцовской трости из толстого виноградного корня он нес обеденную салфетку с вышитой монограммой «И. Ч.».

Позорный белый флаг!

Это противоречило всем традициям и всем понятиям о чести боевой салтановской армии. До сих пор Володька Черный и его друзья были достойными противниками, победа над которыми приносила славу и удовлетворение.

Володька решительно перепрыгнул пограничную канаву и вплотную подошел к забору.

— Вождь сиуксов, Черное Крыло, хочет говорить с великим вождем апахов.

К забору подошли Козявка и Салтан-старший.

— Уши и сердца не знающих страха апахов открыты. Что хочет сказать нам Черное Крыло, пришедший со знаками мира?

В зеленой беседке Салтановского сада состоялся военный совет. Володька без обиняков заявил, что ему надоело враждовать с салтановской армией.

— С Котельниковым, Андреем и Ливановым я больше не играю. Ездил я на неделю со старшим братом на охоту, а теперь хожу по комнатам как неприкаемый. Давайте-ка лучше заключим союз и будем воевать с кем-нибудь другим.

— С кем же тогда воевать? — искренно удивился Салтан. — Что ж нам распускать армию, что ли?

— Вот чудак, да кругом разве мало дворов? Сколько здесь мальчишек. Вон напротив еврейская школа. А рядом с церковью живут на квартире галушки (так презрительно звали гимназисты учеников духовного училища). Их же бить — одно удовольствие!

— Сколько на руку? — с азартом заявил Козявка и протянул к самому Володькиному носу крепкую, жилистую, почти мужскую пятерню.

— Да мало ли еще кого? Давайте сегодня же учиним рейд.

— Как драгуны, — подхватил с восторгом маленький Салтан.

— Нет, лучше пусть будет казачья сотня!

— Ты, Козьявка, будешь командиром, а я твоим есаулом, — продолжил Володька.

— Почему ты есаул? — обиделся Салтан. — Ты к нам приходишь, а не мы к тебе. . .

— Я ведь был командиром армии, а теперь — союз, я из вежливости могу пойти в есаулы.

— Скажи, пожалуйста! — подозрительно посмотрел на него Козьявка. — Что значит «из вежливости»? Что ж, может быть, ты хочешь быть командиром? Ну, давай, поборемся. Поборешь меня — будешь командиром.

Козьявка вскочил с места и схватил Володьку за пояс.

Но Володька бороться отказался.

— Зачем же нам бороться, раз мы союзники? Мы только устанем, истратим силы, и нас могут побить враги.

— Это, может, ты устанешь, — упорствовал Козьявка, — а я не устану.

— Хорошо, допустим, ты сильнее. . .

— Что значит — допустим? Просто сильнее, вот и все!

— С тобой разговаривать нельзя, — обиделся Володька. — Я к вам союз заключать, а вы бузу устраиваете.

— Пока вы будете торговаться, — перебил Салтан, — мама позовет пить чай и больше на двор не пустит — видишь, солнце зашло. Вот вам и рейд. Я хозяин, поэтому я уступаю. Пусть Володька будет есаулом, хотя это, конечно, несправедливо. . .

— Но ведь у меня могут быть и два есаула, — сообразил Козьявка.

На улицу «сотня» вылетела в полной боевой готовности. Козьявка, колесом выпятив грудь, шел впереди. Два есаула немилосердно хлестали себя по ногам нагайками и гарцовали, как настоящие арабские скакуны. Дальше, по три в ряд, то есть двумя рядами, шла вся салтановская армия.

Кавалеристы сдержанным аллюром сделали два круга

по площади. Они подъезжали к самой церкви. Лошади били копытами у самых окон галушниковской квартиры, но ни одного сколько-нибудь заметного противника не было.

— Отдых! — скомандовал Козьявка и поднял руку.

Лошади остановились и стали пускать пену.

— Разве так пускают пену? — рассердился Казацкий на маленького Салтана. — Ты просто плюешься. Видишь, перепачкал мне брюки.

Маленький Салтан зафыркал в ответ еще сильнее и стал гарцовать на месте.

— Я командовал — отдых! — рассердился Козьявка: — не хочешь слушаться, иди домой!

Маленький Салтан сделал сердитые глаза и тупо уставился в стену.

— Раз отдых, так могу делать, что хочу, — цедил он сквозь зубы.

— Славные казаки! — вдруг начал Козьявка. — Сегодня мы совершим лихой набег на земли врагов. . .

— Ур-р-ра! — закричали воодушевленные салтановцы.

— Стройся! — скомандовал ободренный энтузиазмом бойцов Козьявка.

Сотня помчалась рысью вслед за своим атаманом вниз по кривому переулку, который огибал подножье холма Святой Троицы.

Внизу на поросшей травой площадке Козьявка остановил отряд.

— Устроим военный совет, — предложил он товарищам. — Прежде всего — отступать прямо навверх к Салтанам. Но, чтобы не было скандала, проходить через боковую калитку.

— Слушай, Козьявка, ты хочешь повторить тот наш набег? . . . — смущенно перебил вождя Салтан.

Козьявка кивнул головой утвердительно.

— Какой набег? — заинтересовались прочие салтановцы.

— Гм... — гордо улыбнулся Козьявка. — О некоторых подвигах вождей знают только вожди.

Но Салтан не выдержал.

— У, тут такое было!.. Мы у Мойши-бондаря растаскали все клепки и разбросали по улице. У его соседа выпустили свинью. Вывеску портного Гайсинского прицепили к дому дьякона. А на стенах и дверях понаписывали такое, что спаси, господи.

— А верно, ребята, — загорелся вдруг Казацкий. — Давай выдумаем что-нибудь такое особенное... Например, как в романах гвардейцы... Двери гвоздями забьем. Или у порога яму выкопаем... У Салтанов саперные лопатки есть.

— Или уличные фонари вывернем! — предложил младший Салтан.

— Или напакостим!

Старший Салтан молчал.

— Слушай, Козьявка, — перебил он наконец младших братьев. — Иди, я тебе что-то скажу.

Он отвел Козьявку в сторону и зашептал ему на ухо: — Знаешь, я слышал у отца в кабинете, будто к нам еврейская дружина самообороны приехала... сто пятьдесят человек... Тайком... И у всех револьверы и бомбы. Может быть, не стоит сегодня?

— Ну-у!.. — Козьявка оттопырил нижнюю губу, что должно было означать величайшее презрение. — Подумаешь, оборона!.. Казаки — и вдруг испугались... Тем более нам нужно совершить налет... Кто не боится, тот со мною! — обратился он к армии.

Армия дружно, как один, шагнула вперед.

Струсивший было есаул занял свое место.

— Спрячьтесь здесь и ждите моего сигнала, —скомандовал Козьявка. — Я крикну: ко мне! — тогда делайте шум.

Салтановцы тесно прижались к задней стене низкого свинарника.

Потревоженная свинья хрюкнула, перевернулась на другой бок, хлопнула по жидкой грязи и затихла.

— Есаулы, со мной! — скомандовал Козьявка.

Подойдя к двери жестяника Зелиховича, Козьявка постучал в дверь козьею ножкой.

За дверью послышался женский старческий голос:

— Кто там?

— Пожалуйста, откройте! — ласково попросил Козьявка.

Дверь открылась. На пороге показалась сторбленная старуха. Белый платок узкими заячьими ушами свисал низко, чуть ли не до пояса. На остром, как полумесяц, лице горели черные восточные глаза.

— Кого вам нужно? — спросила она Козьявку.

— Здесь живет портной Егоров?

— Какой портной, когда здесь живет жестяник Зелихович. Вы разве неграмотный?

Она показала длинным костлявым пальцем на крошечную вывеску.

— А нам сказали, что здесь живет портной Егоров.

— Так я же вам говорю... никакого Егорова нет. Я такого не слышала. Может быть это на Старом базаре?

— А здесь что же — Новый базар? — грубо перебил старуху Салтан.

— Какой базар? Здесь никакого базара нет.

— Как нет базара, когда здесь живут жидаы!

Старуха поспешила в глубину темных сеней. Белый платок с длинными концами дрожал, колыхался в темноте. Она пыталась закрыть дверь. Но Салтан вставил носок сапога между дверью и рамой.

— Вы бы шли себе, милые паничи, домой, — дрожал голос старухи. — Я вижу, вам никакого портного не нужно. А у нас никого нет дома.

— Нам нужно портного Егорова! — с тупым упорством твердил Козьявка, наступая на старуху. Оба есаула уже

шаркали подошвами по земляному неровному полу сеней, щелкая нагайками и каблуками.

— Ну, вы, идите, идите! — Цепкими, высохшими пальцами старуха схватила Козьявку за кушак и толкнула его к порогу на улицу в лунную ночь, светлым пятном переступившую порог вслед за гимназистами.

— Прочь лапы! — зашипел Козьявка и ударил козьей ножкой по костяшкам высохшей, птичьей руки.

— Ой, какие вы шутки шутите! — заплакала вдруг старушка. — Вы бы шли спать!

— Говори, где живет портной Егоров! — твердил свое Козьявка.

Салтан сорвался с места. В темноте он резко рванул плетью по воздуху. Плеть щелкнула по какому-то жестяному, больно зазвеневшему предмету.

— Что ты нас разыгрываешь? — завопил Салтан во все горло. — Говори, где Егоров!

— Ко мне! — командирски бросил на улицу Козьявка.

Тени бесенят заиграли на лунных пятнах вытопанного, запущенного двора. Хороводом злых духов они пошли вокруг маленького домика, закружились, запрыгали, словно лунный воздух напоил их вином буйства и неистовства.

Козьявка толкнул старуху во тьму. Она распласталась в углу сеней, и концы платка перестали белеть перевернутыми ушами. Салтан и Черный без разбору пинали теперь ногами какие-то предметы. Трещали доски, звенела жесть, рвались какие-то нищенские тряпки, которым даже в бедной еврейской семье место только в сенях. — Бочка с водой! — крикнул, торжествуя, Черный, как будто он нашел невиданный трофей. — Полная бочка!

— Перевернем! — предложил Казацкий.

— Здорово! — завопили гимназисты.

— Подожди, — поднял руку Козьявка и сверкнул карманным фонариком. — Мы ее в дом.

Пять или шесть мальчишек охватили тяжелую двадцативедерную бочку со всех сторон и, с трудом переваливая ее с боку на бок, подкатили к порогу. Вода тяжело хлюпала, ровно плескалась в переполненной деревянной посудине.

— Вали — и деру! — скомандовал атаман.

Команда разом навалилась на бочку, и вода широким языком хлынула в тускло освещенную чистенькую комнатку по высохшим доскам некрашенного пола, проводила черные линии по щелям, пошла к печке, под кровать, под комод, под колченогие стулья.

Мальчишки уже мчались в лунном свете переулка, подпрыгивая на бегу, как индейцы, пляшущие боевой танец.

По дороге Салтан не выдержал. Он нагнулся, схватил плоский кирпич, и стекло керосинового фонаря высыпалось на улицу. Лампочка закивала взбесившимся языком внезапно освобожденного пламени, лизнула жуть черными потоками копоти и внезапно потухла.

— Куда еще? — спросил Черный.

— Может быть, пора уже наверх... туда, поближе к церкви?

Козявка взглянул на второго есаула с презрением.

— Дело только начинается. Главные подвиги впереди!

Пробежав пять-шесть домов, казачья сотня остановилась.

— Есаул Салтан! отправляйтесь на разведку. Загляните в освещенное окно этого вражеского замка.

Есаул подпрыгнул на месте, подался назад, как конь, которому неожиданно дали мундштук, и только тогда мелкой рысью поспешил к освещенному окну покосившейся хибарки.

Окно ничем не было закрыто и не занавешено, если не считать листа белой бумаги, который заменил выбитое стекло.

Край пожелтевшей книги и фаянсовая чашка на столе, и, кажется, кроме старика никого в комнате. Патриаршая борода с густой сединой, дремучая, как чаща, покачивалась у самого окна. Лица старика не было видно за бумагой. Салтан поднялся, держась за ставню, на земляную завалинку. Но и сверху комната казалась пустой.

Он доложил о результатах разведки атаману.

— А ты хорошо глядел? — усомнился было Козьявка. — Один старик. Ну, тогда это не интересно. Разве беглый артиллерийский обстрел. . .

Мальчишки вооружились камнями и выстроились в ряд.

— Залпом! — скомандовал Козьявка. — Разом. . . пли!

Опять звон стекол. . .

Борода заметалась в окне, мелькнули тенью черные рукава и восковые руки, затем лампа погасла, и окно налилось чернотой, как щель из этого лунного света в темноту, в ночь. . .

Гимназисты глядели из-за соседнего сарая, притаившиеся в тени. Ждали — откроется дверь; ждали — крикнет кто-нибудь тревожное слово, слово мольбы и призыва. Встревоженные и злые сердца колотились в груди.

Но дверь молчала, и окно, казалось, стало еще черней. Страх замкнулся, отгородился темнотой.

— Заметили нас! — неожиданно шепнул Салтан.

— Где, где? — послышалось со всех сторон.

— Смотри — тушат свет в окнах.

Далекий свист разорвал тишину ночи.

— Это городской? — спросил Казацкий.

— Дурак! разве городские так свистят? . . . Слушай!

Внизу по переулку послышался топот многих решительных ног.

Свист повторился в другом месте, теперь уже наверху.

Тогда стадом испуганных горных коз помчались навверх, не разбирая дороги, салтановские «казаки». Они спотыкались, падали, срывались с обрывов, забыв о взаимной поддержке, о дружбе, стараясь обогнать друг друга, не заботясь об отставших. Всегда быстрые, ловкие, так легко гарцующие ноги немели от страха, колени предательски дрожали и, казалось, о каждый камень можно было споткнуться, на ровном месте можно было упасть, и подъем был так бесконечен, так невероятно крут, словно приходилось карабкаться на крепостную стену.

А топот ног приближался, враждебный и настойчивый, и свистки раздавались отовсюду, и хлопали двери в залитых луною домах.

А когда уже можно было побежать по ровной улице к спасительному исправничьему дому, который желанной гаванью встал над вздыбленными ненавистью переулками, из-за угла в луну метнулись какие-то тени, и улица тоже показалась отрезанной.

Злые бесенята, превратившиеся в испуганных зверьков, стадом метнулись назад, к днепровским обрывам. Перед ними в голубом свете, над темным кольцом бузины и сирени, подымались белые стены Святой Троицы.

Стадо метнулось к квартире галушек. Ворота были на запоре. Топот и свист приближались. Стадо метнулось к домику просвирни. Домик спал безмятежно. Калитка — на запоре.

Стадо метнулось к резным воротам церкви...

В переулке раскатисто кракнул выстрел...

Володька Черный поставил ногу на широкую клямку церковной калитки. Клямка подалась книзу, звякнула сталью и застыла. Володька подпрыгнул, на мускулах поднялся, держась за деревянные острия, венчавшие резную калитку. С ловкостью убегающего труса он спрыгнул на церковный двор и сбросил тяжелый засов,

запиравший калитку. Теперь испуганные мальчишки метнулись внутрь ограды.

Они опустились на корточки и прижались к белым стенам церкви, как цыплята в момент тревоги прижимаются к наседке.

— Сюда не посмеют! — прошептал Козьявка. . . — Сидите смирно!

Но у ограды уже гудели взволнованные голоса.

— А если посмеют? — спросил Салтан.

— Не посмеют! — настаивал Козьявка.

— А если это те. . . сто пятьдесят? . . . Слышал выстрел? Чугунный засов зазвенел у ограды.

Испуганными шариками покатались мальчишки вдоль белой стены. Лестница на крышу церкви оказалась спасением. Как обезьяны, быстро, быстро, не считая ступенек, помчались все восемь наверх, на обрывистую шатровую крышу.

— А если полезут и сюда? — стучал зубами Салтан. — Сто пятьдесят. . . Слышал, они стреляли?

И, плохо соображая, к чему это может привести, мальчишки оттолкнули высокую, связанную из двух, лестницу, которую подготовили днем маляры. Лестница стояла на двух ногах, секунду дрожала, как живая, а затем тяжело упала в густую траву церковных лужаек.

На улице по-соловьиному, с переливами, тревожно и торжественно в одно и то же время, плескался в лунном свете переливчатый полицейский свист.

Ему отвечали далекие приближающиеся свистки, и вскоре вся ближняя часть города засвистала, запела по-соловьиному, и тревога широкими шагами пошла по улицам, вниз к Святой Троице, и внизу, в ответ на свистки, все чаще кракали, терзая воздух, чьи-то редкие выстрелы.

— Вот теперь городские свистят, — прислушивался Салтан. — Слышишь, вон там с переливами? Это Гон-

чаренко!.. Наш городской! Позвать его? — И он приложил руки рупором ко рту.

— Молчи, дурак! — обругался Козьявка. — Тоже удовольствие — спектакль бесплатный.

— И какой идиот сбросил лестницу?! — возмутился задним числом, несколько успокоенный близостью городских, Казацкий. — Как мы теперь выберемся?

— Ты же сам толкал, — возразил ему Черный. — Что же, мы не видели?

— Может, еще где-нибудь лестница приставлена? Нужно со всех сторон осмотреть крышу.

— Да, попробуй здесь полазять. Того и гляди, сорвешься.

Двое Салтанов обошли весь круг церковной крыши, — лестницы больше нигде не было.

— А если спуститься по трубе? — предложил маленький Салтан, именинник Лека.

— Ты хоть и именинник, — ответил ехидно Козьявка, — но дурак!

Утром маляры не без удивления нашли лестницу в траве, а на крыше — целый выводок гимназистов...

В доме Салтанов был переполох. Взрослые не спали всю ночь. Трое Салтанов были пороты исправничьим ремнем, влетело и гостям, не исключая и Козьявки.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— Раз, два, три!

Шпаги щелкали, выбивали ритмическую дробь.

— Раз, два, три!

Стучали, наступая и отступая, толстокожие каблуки.

— По всем!..

правилам!..

боевого!..

искусства! —

отчеканивая слова, командовал Андрей.

— Раз, два, три! Раз, два, три!

Выгибая под прямым углом вынесенное вперед колено, противники приседали, припадали то на одну, то на другую ногу. Пружинами ног стремительно бросали туловище вперед и упруго отходили назад.

— Раз, два, три! — слышались согласные голоса трех пар фехтующих.

— ...Одним из неподражаемых ударов... которым его научил отец... благородный гасконский дворянин... — декламировал Андрей.

— Где же твой неподражаемый удар? — издевался Ливанов.

— Раз, два, три! Раз, два, три! Д'Артаньян всегда поражал неожиданно, — продолжал скандировать Андрей. — Впрочем... ищите вашу шпагу в дальнем углу, сэр!

Тело Андрея спружинилось, вылетело вперед, и шпага сверкнула в воздухе.

Но шпага противника, вопреки всем цитатам из «Трех мушкетеров», не улетела в дальний угол, и Андрей сам получил увесистый удар в плечо. При этом раздался сухой, предвещающий трагедию треск, и шпага Андрея — она же газетная держалка горбатовской городской читальни — разлетелась в щепы. Противник Андрея, Женья Керн, был ранен в руку. Он сейчас же бросил на стол держалку и стал языком зализывать рану.

Андрей продолжал держать расколовшуюся палку, которая была тщательно острогана и отлакирована мастером, чтобы помогать посетителям обзрывать широкие листы «Русского Слова» и «Киевской Мысли».

— Шевалье, нам предстоит неприятности! — сделал гримасу Ленька Алфеев. — Отец не простит поломки держалки. Она числится в инвентаре и стоит семьдесят пять копеек! Предлагаю незаметно вынести бранные остатки Дюрандаля в сад и предать земле. . .

Сад не имел никакого отношения к библиотеке, в пустынном читальном зале которой происходил описанный выше бой на рапирах, и вторжение на его усыпанные песком дорожки и заросшие травой клумбы являлось дерзким нарушением священных прав собственности, на защите которой у купца Науменки, кроме дворника и садовника, имелся еще и цепной пес Цезарь. Этот четвероногий носитель славного имени разрывал любые части одежды гораздо быстрее и основательнее, чем портному Гайсинскому удавалось приводить их в надлежащий порядок.

В сад можно было проникнуть через окно соседнего, такого же подвального помещения, которое никем не было занято и стояло после ремонта открытым для просушки свежевыкрашенных полов и подоконников.

Ленька Алфеев высунул голову из окна и, опьяненный своей смелостью, почти немедленно перебросил на территорию сада обе ноги.

— Осторожно, — посоветовал Андрей. — Неприятно, если кто-нибудь нас заметит, хотя бы и удалось унести ноги.

— Да, — подтвердил Ливанов. — К сожалению, никто не поверит, что шесть дворян пришли с целью предать земле останки славного меча. Все сойдутся на мысли, что мы просто-напросто крадем яблоки.

— Наплевать! — заявил Ленька и спрыгнул в сад.

— Все за каждого, каждый за всех! — крикнул, прыгая вслед, Ливанов.

Последним перешагнул роковую черту Котельников.

— Начнем церемониал, — предложил Андрей.

— Вам первое слово, граф, — заявил Ливанов.

Дз-з-з-з-з-з... — раздался неожиданно звон разбитого стекла.

Дз-з-з-з-з-з... — звон повторился.

Меч полетел в траву. Шесть гимназистов, в одну секунду забывших о титулах и о кодексе чести, стояли растерянные, переглядываясь между собой. Звон раздался позади, в полуподвальном помещении, где всего лишь неделю назад окрасили наново все полы и застеклили окна. Путь отступления был отрезан.

— Через забор! — скомандовал Ленька.

Это был голос паники.

Шестеро мушкетеров одновременно атаковали высокий забор, утыканный, по провинциальным традициям, острыми гвоздями.

— Чорт! — прохрипел Ливанов. — Я разодрал себе палец.

Голос страдальца не встретил сочувствия. Все старались одолеть забор, не оставив на нем заметных частей туалета.

Шесть фигур уже поднялись было над колючим гребнем, когда раздался второй, не менее панический крик:

— Патруль!

Все, как по команде, повернули голову вправо. От большого спуска к Днепру мчался кавалерийский патруль. За спиной всадников прыгали чернствольные короткие карабины. Шашки, шпоры и удила бряцали на ходу.

Котельников первый скатился обратно в сад. Садовник и пес Цезарь были забыты.

В тот же момент в помещении библиотеки послышался новый звон стекол, но гимназисты больше не колебались. Один за другим, как упругие мячи, они прыгали в сад, из сада в подвал. . .

За ними с метлой на длинной палке мчался садовник. . . Цезарь остервенело рвал ржавую цепь.

Искорки полдневного солнца играли в осколках и стеклянной пыли на белых подоконниках подвала. На свежей краске едва просохшего пола лежала граненая пивная бутылка.

— Значит, пьяные, — крикнул находу Ливанов. — Айда отсюда, ребята!

Но передняя, куда выходили и двери библиотеки и двери пустого подвала, была заполнена народом. Посетители библиотеки во главе с самим Алфеевым, теснились к выходу. У лестницы образовалась пробка. Старик Алфеев взбежал по ступенькам, высунул седую кудлатую голову на улицу и сейчас же подался назад.

Гимназисты шмыгнули в читальню и прильнули к стеклам вросших в землю окон. Мимо проносились чьи-то стоптанные ботинки, металась бахрома штанов, мелькали быстрые женские туфли, дальше на улице, стигаясь и выпрямляясь, мчались ноги лошадей. Пыль крутилась перед ними и хлестала на ветру в стекла, и стебельки травы кланялись, кивали и льнули к окнам.

— Ни чорта отсюда не увидишь, — капризно протянул Андрей. — Пошли на улицу.

— Ну, куда, ну, куда! Куда вас несет? — заорал на гимназистов старик Алфеев.

Лицо его, и без того длинное, худое, еще больше вытянулось, и пергаментная шишка у носа проступила с необыкновенной четкостью.

— А что там? Скажите, Иннокентий Порфирьевич.

— На улице такое творится, что носа не показать, а ваше дело маленькое. Как-нибудь и без вас обойдется. . .

— А в чем дело? Почему же нельзя сказать? — обиделся Ливанов.

Дз-з-з-з-з-з. . . — раздался новый удар в окно. Пущенная крепкой и меткой рукой бутылка влетела теперь уже в библиотеку и веером швырнула по столу с книгами звонкую россыпь разбитого стекла.

Пах, пах, пах. . . — раздались сейчас же четкие звуки выстрелов.

Алфеев, ни на кого не глядя, прошептал:

— Ну, вот, так и есть. До стрельбы дошло дело. — Глаза и голос его были беспомощны, как и вялые руки-плети.

— Иннокентий Порфирьевич! Это что же такое? — вбежал в комнату уже немолодой судейский чиновник. — Господи, боже мой! Да что же это будет? Неужели стреляют?!

Пенсне Иннокентия Порфирьевича медленно, словно на минуту оно осталось без хозяина, съезжало с переносицы. Но Алфеев поправил пенсне, провел прямыми пальцами по длинному шнурку и неожиданно резко ответил: — Не видите, что ли? В бабки играют!

Еще одна бутылка угодила в оконную раму и сама разлетелась на куски.

Пах, пах, пах. . . — рвалось, трещало на улице.

— Мальчики — от окон! — заволновался вдруг Алфеев. — Станьте за шкафы. Неровен час, вместо бутылки пуля сюда пожалует. Дождались! . .

«А если пуля попадет сюда, пробьет она книги или

нет? — думал про себя Андрей. — А что если попадет в глаз или в ухо? Бррр!» И он прятал голову за толстые тома Салиаса и Мордовцева.

— Что это там? — потянул его за рукав Котельников.

— Ничего не понимаю...

Вдруг из передней толпа посетителей хлынула в помещение библиотеки. С шумом захлопнулась дверь в переднюю. Кусок штукатурки серой пылью лег на полу. — Господи, куда вы, куда? Нельзя сюда! — суетился, бегал и нервничал Алфеев.

Но его не слушали. Скакали через высокий барьер, прятались под защиту тяжелых книжных скоплений. Кто-то на четвереньках отправился под круглый стол читальни.

Пах, пах... — раздавалось на улице.

Д-з-з-з-з-з... — отвечали стекла библиотеки.

Дзи-з-з-з-з-з... — словно эхо, откликались стекла каких-то соседних домов.

Страх толпы передавался гимназистам.

— А что, если сюда придут, если начнут громить, как на Крымской улице!

— Слушай, но кто же это там? — тянул за рукав Котельников. — Кто это стреляет? Пойдем посмотрим!

— Куда же мы пойдем, Вася?

— В сад... Увидим через забор.

— А садовник?

— Да он сам, наверное, на заборе сидит. Мы ведь не за яблоками...

Садовник действительно смотрел через забор, забравшись на карниз дома. Он бросил короткий взгляд в сторону гимназистов и опять стал наблюдать за улицей. События были значительны. Право на любопытство становилось выше священных прав собственности.

С забора открывался вид на перекресток двух городских улиц.

Прячась в зеленых палисадниках, за стволами серебристых тополей и фонарных столбов, расположились солдаты в кавалерийских штанах и синих бескозырках. Посредине улицы был выстроен спешенный взвод. Ководы отвели лошадей подальше, к днепровским спускам.

На перекрестке бушевала толпа. Голоса перебивали один другой. Гармонь в пьяных руках терзала воздух, спорила с криком голосов. Десятка два городских в мотнистых штанах и коротких, до середины икр, сапогах, старались отгеснить толпу в соседние улицы. Толпа не унималась. Пивные бутылки высоко взлетали и с хрустом падали на камнях мостовой. Тонкостенные сотки белой молнией мчались в солнечном воздухе к стенам соседних домов и обдавали стеклянной пылью кирпичи тротуаров.

Подвыпившая толпа не обращала внимания ни на городских, ни на солдат, ни даже на стрельбу холостыми. Она теснила цель полицейских, словно поставила себе целью пробиться к драгунам.

— В воздух палят, — сказал Андрей.

— Почем ты знаешь?

— Во-первых, никто не падает, а во-вторых, если драгуны будут стрелять, то прежде всего перебьют городских.

— Значит, неинтересно! — заявил вдруг Ленька.

— Сволочь ты! Байстриук! — обозлился внезапно садовник. — Тебе что ж, охота, чтоб людей калечили?! Пошел вон отсюда! Брысь!

Ленька поглядел искоса, но даже не подвинулся.

— Дяденька, — ласково начал Ливанов, чтобы восстановить мир. — А кто это такие?

— Игде?

— А вот те... Что бутылками бросаются.

— Известно кто — запасные. Не охота-то в Манчжурию идти под японскую шимозу — вот и бунтуют.

— А по ним стрелять будут?

— Может, и будут... Только если начнут стрелять боевыми, так вы, ребята, уносите ноги.

От Днепра, из-за поворота, показалась нарядная исправничья коляска. За нею на извозчике прикатили два надзирателя.

— Смотри, Петька, — крикнул Андрей.

Петька Стеценко весело махал кнутом, усевшись верхом на облучке.

— Вот собака! — зачем-то сказал Ливанов и махнул Петьке рукой.

Салтан сошел с коляски и вместе с драгунским офицером направился к толпе. Старший городской, заведя начальство, скомандовал:

— Смирно!

Толпа затихла.

— Предлагаю собравшимся разойтись! — крикнул Салтан. — Если сейчас же все разойдетесь по казармам, обещаю увести войска. В противном случае приму решительные меры. Такое бесчинство терпеть невозможно!..

Черный широкоплечий человек в полицейском мундире кричал надрывным голосом. Короткая шея, наливаясь кровью, рвала воротник.

Кто-то свистнул. В толпе еще резче взвизгнула гармошка. Кто-то крикнул: «К чортовой матери!» Завились, закружились гневные голоса, и цепь городских из прямой линии сразу превратилась в дугу.

Исправник отступил поспешно. Драгунский офицер пальцем поманил к себе вахмистра. Прижимая шапку к бедру, вахмистр пробежал по пыльной улице и вытянулся перед офицером. Офицер, комкая перчатки, что-то тихо говорил вахмистру.

— Слушаю, ваше благородие! — отчеканил вахмистр, повернувшись на каблуках и опять побежал к драгунам.

Один из драгун козырнул вахмистру и побежал в глубину улицы к коням, вскочил в седло и скрылся за углом.

Тем временем городовые пытались сомкнуться. Один из них наскочил на выбежавшего вперед в распахнутой рубахе, без шалки, без пояса, парня, схватил его за грудки и с силой толкнул назад в толпу.

— Братцы, бьют! — завопил парень. — Ироды!

К городовому бросился крепкий бородатый мужик. Городовой пронзительно свистнул. Но цепь окончательно рассыпалась. Обнажив сабли, полицейские беспорядочно отступали к драгунам.

Толпа-победительница перестала стесняться. Бутылки полетели в городовых.

У ног исправника плюхнулась и расселась недопитая хрупкая четверть. Исправник вскинулся, словно его укусила змея, и бросился бежать к коляске.

Драгунский офицер с силой швырнул на мостовую окурок и высоким, дрожащим голосом скомандовал:

— К бою... товсь!

Городовые припали к стенам домов и заборам.

Исправничий кучер, очутившись между толпой и драгунами, трясущимися руками подбирал вожжи и заворачивал так круто, что одно колесо поднялось в воздух. Кони проплыли перед строем. Исправник, как будто прося, чтобы не стреляли, вытянул руку в направлении к драгунам.

Петька растерянно смотрел на исправничью коляску. Он вдруг вскочил на ноги и тоже хлестнул коня.

— Стой! — крикнул ему офицер. — Стой, сволочь!

Петька не видел, что к нему бегут из толпы.

Камни полетели в драгун из-за Петькиного гнедыша.

Клинок кавалерийской сабли блеснул в солнечном свете. Офицер прохрипел что-то невнятное.

Выстрелы хлестнули воздух.

— Выметайсь, выметайсь, ребята! Пошла писать губерния! — сказал садовник и упал в сад мешком, на каблучки.

Гимназисты с погремушками вместо сердец один за другим прыгали на мягкую землю Наумовского сада.

Только Андрей задержался на заборе. Рискуя выпасть на улицу, он тянулся вперед и кричал:

— Петька, осторожно! Петька!..

Но Петька забыл обо всем на свете, о драгунах, об исправничьем кучере, об Андрее. Ломая оглобли, медленно оседал перед ним его верный кормилец и друг, худой и костлявый гнедыш Ванька...

Камни и стекла загрохотали шо забору, по кирпичной стене. Толпа, перекрывая гармонь, выкрикивала гневную ругань, бросала ядренные слова по адресу полицейских, офицеров и солдат.

Когда гимназисты опять пробегали пустыми комнатами полуподвала, на улице трещали новые залпы, на этот раз стройные, упорные, настойчивые, словно большие бичи в чудовищной руке рассекали воздух.

В окна читальни было видно, как неслись мимо, мелькали, заплетались сотни ног. Все в одну сторону, куда-то туда, на соседние улицы, от выстрелов, от хлопающих, кусающих бичей. Вот чьи-то ноги взлетели на носки... остановились... Синяя куртка заполнила просвет окна. Тонкая темная струйка побежала по стеклу.

Так перед дождем падает на окно и быстро мчится книзу первая тяжелая капля...

— Что делается, что делается! — давил пальцами виски Иннокентий Порфирьевич. — Какой ужас!

— А где же ваша партия правового порядка? — спросил его Андрей, у которого зуб на зуб не попадал.

Старик посмотрел на Андрея удивленным, долгим взглядом.

— Вот видите — порядки?.. Люди убитые по улицам валяются!.. — Он горестно взмахнул рукой.

Старик забыл, что перед ним всего лишь пяти-классник. . .

На перекрестке было пустынно и тихо. И толпа, и драгуны, и полицейские ушли на другие улицы. На тротуарах валялись битые бутылки, кирпичи и булыжники. В заборах образовались щели. В домах бумагой и фанерой заделывали разбитые, простреленные стекла. Палисадники были повалены и поломаны. На самом углу молодое деревцо легло зеленой щекой в пыль, и белое мясо ствола обнажилось из-под липкой кожуры на сломе.

Петька недвижимым столбиком поднимался над серыми песками улицы. Кто-то сердобольный отпряг гнедыша, коляску подтащил к забору и перебросил оглобли через тротуар на частокол. Сбруя была взвалена на сиденье. . .

Гнедыш, вытянув шею, глубоко залег в пыль, черную у оскаленных желтых зубов. Мухи уже кружились над мертвой головой густыми роями.

Редкие прохожие останавливались перед Петькой, пытались с ним заговорить и, не получив ответа, уходили.

Курчавый студент в измятой ветхой фуражке и сатиновой черной рубаше остановился тоже.

Он долго молча оглядывал коня, сбрую и бричку. Зашел с другой стороны, заглянул в мутные глаза подстреленной лошади и опять подошел к Петьке.

— С этой стороны пуля, — сказал он сам себе громко. — Значит, драгуны.

Петька смотрел в уличную пыль.

— Отец жив? — спросил студент.

Петька не сразу тихо мотнул головой. Это было близко от его мыслей.

— А сколько вас всего?

— Шестеро. . . — ответил Петька и всхлипнул коротким плачем. Опять перехватило горло.

— Ну вот, — сказал студент, как будто он и сам знал, что шестеро. — Погано! — прибавил он. — Надо требовать. Как твой адрес?

Но от Петьки больше нельзя было добиться ничего. Это уже не сливалось с его упорными, как бы остановившимися мыслями.

Адрес Петьки дали студенту подошедшие гимназисты. Захлебываясь, они говорили наперебой, какой Петька умный и памятливым, как он любит книги, как много работает, что у него отец запойный, а братья и сестры мал-мала-меньше. . .

— Я пойду к его отцу и научу его, кому надо жаловаться. Хотя из этого ничего и не выйдет. . . Все-таки молчать нельзя! — размышлял вслух студент. — А его, — указал он на Петьку, — надо устроить на завод.

— Ой, он давно мечтает! — сказал Андрей.

— У меня есть на заводе знакомства. . . — соображал студент.

К Петьке подошел спешившийся на углу извозчик. Он поглядел на коня и долго молча качал головой. Потом он потрогал кнутовищем мертвую голову и отогнал мух.

От коня он перешел к бричке, осмотрел сбрую, колеса, оглобли. Потом он взял Петьку за плечо и повел к бричке.

— Сидай та сыды, а я батькови скажу. Зрадие старий! От тряся его мами! — Он опять закачал головой.

Петька послушно сел на подножку и смотрел вслед отъезжающей бричке соседа.

В домыке старика Стеценки крепко засело горе. Старуха, всю жизнь не приседавшая на пять минут, вдруг перестала работать и сидела часами в углу, запрятав руки под рваный передник. Дети скучно подвы-

вали, когда она всхлипывала. На заборе сушилась шкура гнедыша.

Старик молча слушал студента. Потом студент долго писал какие-то бумаги. . .

Но, идя к исправнику, Стеценко не взял бумаг. Он забрал с собою трехлетнего Кольку. Колька не поспевал за отцом, падал, повисал на отцовской руке и тихо подскуливал.

— Оставь дитю! — скомандовал в приемной городской.

Но Стеценко поднял и внес сына в исправничий кабинет.

— Это что? — в упор спросил Салтан.

Колька заревел.

— Ваше скородие, — тихо протянул Стеценко. — Деньги верните. Коня убили.

Салтан, раздраженный с утра, подошел синей горою к Стеценке.

— Это что, я тебя спрашиваю? Чето с ревуном прилез? — Он топнул ногою. — Ты что, на крестины явился? Я тебя переkreщу, сукин сын! — Он ткнул кулаком в зубы извозчику.

Стеценкина борода поднялась кверху и окрасилась кровью. Старик облизывал губы и тяжело дышал.

На шум ворвались городовые и увели старика силой. Исправник долго нервно ходил по кабинету, вытирая платком давно уже чистый кулак.

Стеценко посадил Кольку на плечо и пошел серединой улицы, как привык ездить на гнедыше. . .

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Степные ветры рвали улицу. Мягкие настилы серой пыли облаком отрывались от широких дорог, совершали вихревой танец, мелким песчаным дождем стучали в жестяные вывески, в стекла потемневших окон, в маза-ные стены и некрашенные, замшелые заборы.

Прохожие то и дело оборачивались к ветру спиной, натягивали на нос смятые картузы. Опускались поля широкополых девичьих шляп. Матери, няни с детьми прятались в чужих парадных от налетавших песчаных шквалов.

Золотой крендель булочной, как бешеный, мотался на коротком кронштейне и, казалось, вот-вот сорвется вместе с толстым сусальным окороком на чью-нибудь неудачливую голову.

Ветер гнал на север, к центру города пыль, листья, бумажки, окурки, уличный мусор, и туда же шла, спешила, бежала, семенила толпа.

Драгуны, разбившись на патрули, гарцовали у самых тротуаров, и женщины с ребятами, в защиту от лоснящегося конского зада, выставляли перед собою широкие заскорузлые ладони.

На скрещении двух главных улиц накапливалась толпа.

— Эй, брат, — сказал Ливанов, — не попереть ли нам по-добру, по-здорову по домам? Какой смысл ввязываться в уличные драки?

— Во-первых, это не уличная драка, а революция! — выпалил вдруг Котельников.

— Кто же здесь, по-твоему, революционеры? Драгуны, что ли? Или черная сотня?

— Да-к ведь это же бунтуют запасные.

— Они не хотят идти на войну — вот и все.

— А ты знаешь, почему они не хотят идти на войну? Ты в деревне хоть раз был? Ты знаешь, что скоро поля убирать надо? А тут самых здоровых мужиков в Манчжурию гонят. А жать бабы будут? — кипел Котельников.

— Так, по-твоему, с японцами войну кончать не надо? Пусть забирают всю землю до Байкала или до Урала. Так, что ли?

Толпа увеличивалась.

— Осади! — орала драгуны.

Полицейские, держа пашки в ножнах перед собою, рядами напирала на толпу, разгоняли группы молодежи и людей в пиджаках и косоворотках, державшихся вместе.

— А это кто? — спросил Василий.

— Это рабочие с табачной фабрики, с сахарного завода, с лесопилец.

— Ребята, пошли через базар! По Дворянской сейчас ни пройти, ни проехать...

В пыльных мусорных кучах, в вековых миргородских грязях залегла посредине города Соборная, она же Базарная площадь. Массивным пятиглавым холмом поднимался над нею белый, свежескрашенный собор, выпустивший вперед колокольню, как часового на стражу.

Вся площадь в двойном кольце новых кирпичных зданий, магазинов и складов, а вокруг церковной ограды свалкой колченогой мебели клонились в разные стороны иссохшие, ободранные рундуки — деревянные ящики с навесами от дождя и солнца. День не базар-

ный — торговли нет, но на площади людно: на серых досках рундуков, спрятав лица от июльского солнца под тень навесов, на распряженных телегах, на брошенных в пыль мешках с овсом и сеном лежат и сидят сотни не городских, приезжих людей.

Красные свитки, белые зипуны, холщевые грязные брюки, сапоги «акулий рот» — глядели с рундуков. Калининские и казенные бутылки в лежачем, стоячем и наклонном положении блестели на солнце. В трех концах площади мурлыкала гармонь. Лирники, поджав под себя ноги по-татарски, сидели в пыли. Подняв лица к небу и закатив глаза, они изо всей мочи горланили бесконечные, монотонные песни. Городские гамены в почтительном изумлении созерцали пьянствующие компании. Иные, похрабрей, вступали в разговоры с запасными.

Расторопная хозяйка в ситцевом платье и замызганном переднике вела торговлю с рук сухой таранью и вареной картошкой.

— Голубчики-коханчики, купить тараню! Дывица, яка жирна, аж слюны тякуть!

— Защытныкам, тетку, задарма полагаеця. Мы, може, в Манчжурии за вас усих поздыхаемо.

— Це вы за царя та за отэчэство, а не за нас!

— От тоби й на! Так ты ж и есть отэчэство, тетку! Ды-высь, яка ты гарна та цицьката!

— Иды ты к бисовому батьку! В тебе, мабуть, грошей немае.

У одного из проходов на площадь раздался резкий свист.

— Казаки! — крикнул кто-то из запасных.

Сидевшие на рундучках, на земле вскочили, как по команде, только мертвецки пьяные продолжали светить на полдневном солнце желтыми пятками.

Драгунский патруль со всего маху влетел на пло-

щадь. Офицер поднял руку в белой перчатке, и кони стали, взметнув к небу тяжелое облако пыли.

— Разойдись! — скомандовал офицер, обращаясь ко всей площади.

Площадь молчала.

— Ну, я командую: раз, два!..

Офицер поднял шашку и замер в паузе.

— А чи не пойдешь ты к хорошей матери!.. — гаркнул пропитой бас.

В разных концах засвистали. Кто-то выиграл свирепо и решительно на гармонике.

— Чух! — булыжник звякнул у ног офицерского рысака. Драгунские кони попятились, словно от взрыва бомбы.

— Ах, так, — закричал офицер. — К бою... товсь!

Запасные уже сидели за рундуками и руками выкорчевывали из утоптанной базарной земли корявые булыжники. Некоторые отдирали доски и планки от рундуков, крушили церковный забор, другие, изогнувшись в три погибели, трусливо мчались между рядов брошенных стоек и рундуков к каменным амбарам, где можно было нырнуть на улицу.

Но здесь уже сторожили усиленные полицейские наряды. Городовые хватали беглецов, крутили им на спину руки и отправляли с нарядом молодых солдат в тюрьму, в казармы.

Драгуны по команде офицера выстрелили в воздух. В ответ в лошадей и всадников полетели бутылки. Тогда драгуны дали боевой залп. Трое, вздевая руки, роняя шашки, упали на землю. Бросая раненых, толпа с криком понеслась через площадь к собору, оттуда через ограду к церкви и дальше на большую улицу, куда глядели колокольня и главный вход собора. Люди ловко перелетали через зеленый забор, через широкие ящики рундуков, спотыкались, падали и, сливаясь в лавину,

понеслись по улице, уже не сдерживаемые бессильными полицейскими патрулями. Драгуны мчались вслед за толпой, стараясь направить ее по Сухой к полю, туда, где длинными приземистыми рядами, выстроились вокруг военной церковушки казармы местных полков.

Но всюду, где появлялся хотя бы один драгун или полицейский, синие, белые, коричневые стекла винтили солнечный воздух, сверкали в полете и с хрустом рассыпались в стеклянную пыль. За бутылками неслись камни, кирпичи, доски, щерившиеся гвоздями.

Гимназисты сначала метались из стороны в сторону, пытаясь уйти с поля этого своеобразного сражения, и, наконец, затихли под крепким новым рундуком.

— Опять мы в переделку попали, — сказал Андрей. — Что такое творится!

— А зато весело! — расхрабрился Ливанов.

— А за рундуком ты землю носом пахал.

— Ну, положим, сидел, как все. А получить в голову бутылкой, подумаешь — большая честь!

— Пошли, ребята, ко мне! Тут близко. У меня пересядем. Кстати, отец расскажет, в чем дело.

У Костровых дома — переполох. На улице творится такое, что упаси господи, а детей дома нет. Где бродят — неизвестно. Старик Костров внешне холодно-спокоен, но Матильда Германовна носится по комнатам. Няня причитает, крестясь на икону.

— Ты где шляешься? — загремел Костров.

— В библиотеке был.

— Какие теперь библиотеки? Видишь, бунт идет! Тут еще такое будет, что не знаешь, чем кончится, а тут тебя чорт где-то носит!

— Андрей, это зачем? — шепнул вдруг Ливанов. — Что это вы такие богомольные стали?

С широкого подоконника гостиной были сняты вазоны с фуксиями и лилиями, и единственная сохранив-

шаяся в небогомольном доме Костровых нянина икона в резном киоте глядела в окно на улицу. Перед иконой была пристроена в высоком фужере зеленая лампадка, и в ней слабо теплился огонек.

— Вот так на! — удивился Андрей. — Это что ж такое?

— Не твое дело! Нужно — и поставлено. Проваливайте к себе! — терял спокойствие Мартын Федорович.

— Какая это муха укусила твоего папахена? — спросил Ливанов.

— Икона!.. Ничего не понимаю.

— А я сразу понял, — хитро улыбнулся Костя, — увидят в доме икону — значит, не евреи, значит, погрома не будет.

— Откуда ты такой просвещенный?

— На колу мочала, начинай сначала!.. Видал, у Зальмерсонов тоже икона. Мы шли, я заметил, только так.. ни к чему.. а теперь сообразил.

— Они ведь евреи.

— Подумаешь! Как-нибудь вытерпят. Погром — это вещь похуже!

К вечеру ветер понес облака, тяжелые, как дым от завода, низкие, ползучие, приблизившие небо к земле.

Костров не пустил гимназистов на улицу. К Ливанову послали на дом девушку с запиской.

На улицах то в одном, то в другом конце города стреляли, словно кто-то вскрывал бутылки с шампанским. По большой улице, — можно было видеть в окно, — пробегали толпы парней из предместий и скакали по двое драгуны на усталых, вспененных конях.

Вечером в доме не зажигали ламп, и только лампада у иконы светила на улицу тусклым, мигающим языком.

— Ребята, и у соседей икона.. и напротив.

— Варфломеевская ночь!.. Помнишь, кресты и знаки смерти на дверях еретиков.

— Неужели ночью что-нибудь будет?

— Уже начинается. . . — сказал внезапно вошедший Костров. — Только без шума и без огней. На всю жизнь запомнится. . .

Из темной большой гостиной в окна была видна кривая улица городского предместья. Дом Костровых как бы запирал ее широкое пыльное устье. Костровским домом начинался чистый, ровный город, разбитый, как шахматная доска.

Теперь по улице мчалась беспорядочная толпа. Надвигающийся прибой рубах, пиджаков, лохмотьев, шапок, рук, ног. . . Люди бежали тяжелым, заплетающимся бегом, останавливались, чтобы передохнуть, и опять бросались вперед. Многие были без картузов, и нестриженные волосы рвал неутихающий ветер. У мужчин в руках были дубины и железные звенящие палки. Звериные глаза наливались мутью злобы и тупости.

Костров открыл форточку, и шум улицы ворвался в комнату кусками слов, рокотом проклятий. . .

Пьяные, рыкающие голоса, нестройные и свирепые, напоминали угар ночных деревенских пирушек. Один в разорванной рубахе бежал впереди и громко кричал что-то непонятное. Было видно, как он поднимает руки и зовет за собой толпу. Толпа отвечала хрипящим рыком.

И сейчас же над одним из покосившихся домиков встал дымный и огненный вихрь.

— Господы, що робыця! — застонала нянька из столовой. — И нас спалять! . . Ой, лышенько! . .

— Ветер больше на Днепр, — промычал старик Костров. — К нам, авось, через площадь не дотянет. . .

В темнеющем вечере зажглась еще одна буйная, зловещая лампада, за нею третья, четвертая — двумя рядами вдоль улицы предместья. Вихрь метал живое черно-красное знамя погрома от крыши к крыше, от

дерева к дереву. Липы сворачивали кудрявые зеленые ветви, и из разбитых окон домов вылетали новые побег пламени — огненные драконы, лизавшие глиняные стены и сухие тесовые крыши еврейских домиков.

На Святой Троице гремел набат, то ли призывая на борьбу с пламенем, то ли созывая толпы фанатиков на новую черную Варфоломеевскую ночь.

Мелким дребезгом, кашляющим перезвоном отвечала издали ветхая городская каланча.

Но пожарные не ехали. . .

Наконец в раскрытое окно ворвалась четкая, волнующая дробь барабанов.

— Войска! — с подъемом сказал Ливанов.

Словно свежая струя охладила пересохшие губы.

— Слава богу! — вздохнула няня: — прогонят разбойников!

— Да, теперь безобразие кончится, — радовался Костров. Видно было, что волнение перехватывает ему горло. — Давно нужно было бы! Чорт знает что! В городе ведь два полка и драгуны. . .

Взвод солдат прошел мимо дома Костровых под дробь барабанов и, не ломая железной ровности рядов, зашагал к пожару.

Толпа встретила солдат равнодушно.

Вслед за солдатами примчался красный пожарный насос, и от Днепра потянулись бочки с водою.

Солдаты быстро очистили горевшие усадьбы от толпы и предоставили действовать пожарным. Затем офицер выстроил взвод поперек улицы и приказал никого не пускать из предместья в город. Но хулиганы уже давно перебрались в глубь улицы, в переулки, и теперь оттуда неслись дикие крики, пьяная гармонь, вопли — звуки погрома.

— Почему же они не разгоняют погромщиков? — нервничал, ломая пальцы, Андрей.

— Ничего не понимаю. Действительно, чорт знает что. Дикая страна! — выдавил сквозь зубы Мартын Федорович.

Барабан стучал ровно и гулко, но уже никто не обращал внимания на солдат. Пожарные заливали пламя, рвали баграми крыши, а погром шел своим чередом. В глубине улицы мохнатые клубы дыма слились в черную шалку-тучу, и яркие, как молния, разбрасываемые ветром, возносились над крышами домов огненные стрелы искр.

— Довольно смотреть на эту мерзость! Сюда, в город, никого не пустят, это ясно. А там... уже никто не поможет... Пойдем в столовую!

В саду и во дворе Костровых было тихо. Надвинулась ночь — ни огня, ни движения. Только из города доносились звуки одиночных выстрелов и далекие не то человеческие, не то птичьи тревожные крики.

Костров высунулся в окно, вошел головой и плечами в темноту и вдруг отпрянул назад.

— Это что? Кто там? — Он опустил руку в карман, который топорщился, обрисовывая дуло неуклюжего револьвера.

«Эге, оказывается отец приготовился к худшему», подумал Андрей.

Под окном произошло движение.

— Кто там, в чем дело? — повторил Костров.

Шум усилился.

— Дай лампу, Андрей! — потребовал Костров.

Огромная «молния» осветила кусок двора у самой стены дома. Красноватый свет упал даже на двери сарая, заключенные тяжелым стальным замком.

Какие-то тени метнулись к сараю, к деревьям, к дальнему забору, за которым начинались чужие усадьбы.

Вошла няня.

— Это суседки. Евреи. Воны бояця. У нас поховались. Кто у беседке, а кто у нужнике, а кто под крыльцом. А я молчу. Куды ж им диваця?

Костров молча захлопнул окно.

Всю ночь в окна Костровского дома светили пожары, перемигиваясь с языком лампы перед Николаем чудотворцем. Святая Троица ревела большим колоколом, стучали пехотные барабаны, а погром уходил все дальше и дальше в предместье...

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Из выжженных степей, от крымских горячих песков, от синего солнечного моря наплзла на город жара.

Поблекла весенняя буйная зелень, пыль уверенно улеглась на листьях, на длинных клинках шелковых трав. Жаркая земля недвижно лежала под безоблачным жарким небом, и даже древние городские лужи высохли и показали дно — замысловатым рисунком растрескавшуюся глину.

Из вод сузившегося Днепра выглянули желтые языки отмелей, и песок, крепкий, как толченное стекло, пересыпался на ветру там, где по весне ходили пароходы.

Но вечерами, когда от длинных теней тянуло прохладой, люди Старого базара не чувствовали облегчения, — вечерами над городом нависала тревога.

Слово «погром» склонялось на все лады: оно гремело в пьяных выкриках у соборной ограды, на бойких углах у домиков с зеленой вывеской «Казенная винная лавка», оно визжало, скрипело, беззубо пришепetyвало в бабьих разговорах на завалинках, на лавочках, сквозь семечки и икоту.

Почему-то все были уверены, что погром еще будет, — ведь еще не тронули Старый базар — центр еврейской части города. Старый базар — почти гетто, где живут старозаветные старики в ветхих лалсердаках, с седыми пейсами, и широкоплечие бородачи-ремесленники, кото-

рые ходят в синагогу, надевая талес и черные ермолки, в пятнах эпохи русско-турецкой войны. Старый базар, где нет садов, и еврейская детвора, как веселые воробьи, заполняет улицы, где живут человек на человеке в подвалах, в одноэтажных и двухэтажных домах, в пристройках и даже на чердаках, показывая всей улице в слуховые оконца ветхое белье и красные перины.

На Крымской улице, где прошел первый погром, евреев сравнительно немного. Через два дома в третий. Там больше живет христианская голоота — «казаки», потомки запорожцев. Недаром по вечерам под бандуру звенят под дубами, под орехами думы про Байду Вишневецкого, про казака Софрона, про Дорошенку и Конашевича-Сагайдачного. Если уж устраивать погром, так устраивать на Старом базаре!

Если пустить пух из еврейских подушек и перин на всем Старом базаре, то даже верхний город станет белым, как после декабрьского снега.

И на Старом базаре ночью чутко спят еврейские женщины, и, когда в окне мелькнет тень прохожего, срывается с места еврейское сердце и стучит и рвется наружу...

Еврейская община отправила делегацию к начальству с просьбой поставить войска на Старом базаре.

Богачи, купцы, лесопромышленники долго шушукались у главной синагоги, а потом пошли к временному генерал-губернатору города, полковнику Корецкому.

И исправник, и генерал-губернатор успокаивали встревоженных старцев и говорили, что в городе все спокойно, что эксцессы были, но это только случайные прискорбные инциденты, вызванные тем, что запасные перед походом на фронт несколько подвыпили. Что опасаться нового погрома нет никаких оснований...

— Попробуйте сомневаться в словах генерал-губернатора, — качал головой старый Исселе Пейсиц. — Хотя

бы этот губернатор был временный и всего лишь в уездном городе. Он вам скажет: «Разве вы мне не верите?» И я вам говорю: попробуйте не поверить генерал-губернатору!

— И разве громили запасные?

— Я видел Сидора Кононенку с железным ломом... как живого. Разве он запасный? Он пьяница и за сотку зарежет родную сестру.

— А Николай Сутула? Он же бывший городской...

Старики качали головой и шли опять к синагоге и до позднего вечера шушукались и совещались — не поехать ли в Киев к губернатору и не дать ли телеграмму самому господину министру, не обидится ли генерал-губернатор, и не сочтет ли он, что такая телеграмма — это знак недоверия к его собственной власти.

А между тем все знали, что войск в городе становится все меньше и меньше. Запасные укатили в эшелонах на Восток, навстречу своей манчжурской судьбе. Один полк ушел в лагеря, а драгуны разлетелись мелкими отрядами по имениям помещиков.

За Днестром в привольных полтавских полях то здесь, то там вспыхивали ночами далекие пожары. Жалостно, зло и тревожно гудела проволока на высоких корявых столбах, выстроившихся в ряд по прямым улицам верхнего города. В город летели телеграммы, помещичьи крики о помощи против восставших крестьян.

Военные власти уже вынуждены были отказывать в вооруженной охране. Что поделаешь, когда нехватает штыков и сабель, а главное, нехватает господ офицеров, надежных фельдфебелей и вахмистров, способных возглавить постой!

И что там вопли каких-то заднепровских мелких помещиков, у которых усадьба да триста десятин, когда летят телеграммы за подписями: граф Бобринский (двадцать тысяч десятин), Лопухин-Демидов (пятна-

дцать тысяч десятин), князь Яшвилъ и сама Мария Браницкая, имения которой богаче и больше иных великих герцогств Германии! На такое имение, которое щедро нарезал сам светлейший князь Таврический, нужен целый батальон солдат. Из конца в конец такого имения надо ехать несколько часов по железной дороге. Где уж тут! Не до полтавских галушек.

В городе все чаще и чаще свистали по ночам и пьяно были далекие улицы и бесфонарные переулки, и вечерами даже тень и прохлада не манили на улицу молодежь. Пустовал городской сад у тюрьмы над Старым базаром, и женщины боялись выйти из дому без провожатого.

А на Спаса, шестого августа, в престольный праздник соборной церкви, грянул погром. . .

Сотки, мерзавчики с отбитыми горлышками крупнозернистым градом валялись в траве, устилали тротуары у казенных винных лавок. Крутые затылки наливались красным, картузы ползли набекрень. Откуда у всех босяков одновременно появились деньги?! К монополям ползли со всех сторон бродяги из предместий, завсегда-таи приднепровских кабаков и пивнушек, безработные плотовщики и пришедшие с верховьев корявые пильщики.

Поп в соборе говорил о кознях дьявола, о царе и о подвиге и благословлял толпу большим крестом, которым он размахивал, как тяжелым кистенем.

А внизу с утра готовились к тревожной ночи. Никто не соглашался сторожить лесные склады и дворы. Хозяева запирали конторы, бросали добро на николаевских и александровских солдат с бородами и медалями, а то и с деревянной чуркой вместо ноги, оставшейся у Рушукских переправ на Дунае, у Плевны, у Шипки, или даже у Малахова Кургана. Богачи шли наверх к родственникам, к знакомым, под защиту керосино-калильных фонарей и постовых городовых, исправно шатавших по

лунным перекресткам у барских особняков и присутственных мест.

Но бедноте некуда было деваться. Добро прятали в подвалы и погреба, сами ложились на жаркие, бессонные, затаившие в себе ночной страх, подушки.

Необычайно поздно горели в кабаках керосиновые «молнии», гремела гармонь, визжала ненастроенная скрипка и бренькали, излюбленные хулиганьем, дребезжащие балалайки. А там, где спускаются к Днепру черные ямы переулков, раздавался атаманский разбойничий посвист. И тени, пригнувшись, скользили у окон, накапливались у спусков, и тяжкая липкая ругань гудела во тьме. . .

Громили сразу со всех сторон.

Старый базар был взят в клещи. Ни войти, ни выйти. На этот раз ничего не жгли, словно дан был приказ: без огня, без пожаров!

«Работали» в темноте.

Наряды полиции, воинские патрули стучали коваными каблуками, звенели замками винтовок и ударами пашек о толстокожий сапог. Но перед полицейскими, перед офицерами в белых перчатках неизменной тишиной расступались звуки, и патруль, как игла, пронизывал квартал за кварталом, а справа, слева, позади и впереди шел бесовский зловонный хоровод, устилавший улицу пухом вспоротых подушек, раздиравший глубокую от Днепра и до неба темноту ночи криками схваченных за волосы женщин и визгом разбуженных детей. . .

Казалось, чья-то твердая руда водит проворные тени. Пьяные толпы, не задерживаясь, подчинялись таинственным свисткам. По свисткам настойчиво громили окна, высаживали двери, лущили зеркала, становились сапогами на стенные часы и застекленные портреты, рвали бороды и женские косы и вспарывали белые животы, словно подушки с гусиным пухом. . .

Гайсинский, Миша и Рахиль не покинули постелей и тогда, когда кругом уже рвались крики и в переулках, то здесь, то там, вспыхивал истерический горловой крик.

Куда идти? Разве на улице не страшней, чем в доме? В доме тихо, темно — домик крошечный, — может быть пройдут мимо. Дом не на самой улице, он во дворе, перед ним сарай, — ночью его можно и не заметить. . .

Миша сполз с постели и горячим лбом приложился к прохладному ночному стеклу. Старик Гайсинский лежал на кровати и время от времени тихо вздыхал. Рахиль собралась в комок под старым пледом. Миша уверен, что она, как и он, пронизана мелкой дрожью и по привычке прижимает руки к щекам. А в окне ничего не видно, только луна одиноко гуляет в небесных полях, и Святая Троица поднимает ей навстречу белые стены и темные острые главы. . .

— Отец, я выйду, посмотрю. . . что делается. Может быть, все спокойно. . .

— Куда ты пойдешь? — волнуется шопотом отец. — Ну, куда ты пойдешь? И где это спокойно? Может быть, ты знаешь такое место, где спокойно? Разве ты не слышишь, что наверху и внизу кричат и бьют окна? Или тебе надо объяснять, кто это ломает двери?

— Это наверное на Старом базаре. Может быть, до нас не дойдут.

Миша вздрагивающими пальцами бесшумно открывает форточку. И шум нагло влетает в темную комнату, и кровать Рахили скрипит, будто без колес отправляется в дорогу, а старый Гайсинский уже по-настоящему, громко стонет.

Под окном легкая, летучая, будто большой зверь махнул пушистым хвостом, скользит тень. Миша отпрянул от окна, а потом опять припал лицом к стеклам.

Это спешит, крадется домой сосед — сын бондаря Шнеерсона, тот самый, который не боится ни бога, ни чорта, ни даже погромщиков.

Миша ногтем царапает стекло, и Шнеерсон всовывает всклокоченную голову в форточку.

Старый Гайсинский поднимается на кровати.

Шнеерсон без шалки. У него теперь вовсе не такое насмешливое лицо, как всегда.

— Ну, что? — спрашивает Гайсинский.

— Ой, никуда не уйти!.. Ой, знаете, господин Гайсинский, я уже бегал наверх и вниз, — и везде хулиганы, и везде они с ножами и с кольями. И даже на церковную гору нельзя влезть. И я уже не знаю, что делать!

Он унес свою кудрявую голову из комнаты и побежал к себе, к своим.

А через минуту по переулку, звеня оружием, стуча сапогами, прошел патруль. За ним сомкнулась тишина, и перед ним уходили во тьму крики и свист.

— Ой, неужели войска разгонят погромщиков? — сомневался и радовался Миша. — Каких-нибудь пять-шесть солдат, и все стало тихо. Что стоит на каждой улице поставить по пяти человек?

— А кому это нужно? — отвечает отец. Он сидит теперь в лунном свете, подобрал к подбородку колени в белых кальсонах. — Может быть, это нам нужно, так ведь мы не командуем солдатами. — Он вдруг вскочил. — А может быть, лучше пойти за солдатами?! Ай, лучше бы вы ночевали сегодня у Монастырских. Нужно было тебе оставаться у господина Савицкого в имении. Я бы один как-нибудь спрятался.

— Я не останусь больше у Савицкого! — крикнул Миша. — Я теперь понимаю. Они клялись, они кричали «ура!». — Миша стоял у окна, размахивая руками, словно ораторствовал перед большой толпой.

— Что ты кричишь? Ты хочешь, чтобы нас услышали?

В самом деле, как тихо... Не пойти ли сейчас наверх? Может быть, можно уйти в город?

Но в это время резкий заливной свист раздался у самого окна. По светлым бликам, упавшим на пол комнаты, прошло тяжелое темное пятно.

— Ой, боже, боже! — простонал старик.

Внезапным громом вошел тяжелый удар по стеклу в темную комнату.

Миша пригнулся. Острые осколки посыпались ему за воротник. Он упал на колени, а когда сапоги перешагнули через его согнутые плечи, он плашмя лег на пол, слился со стеной в черноте тени, которую отбрасывал подоконник.

Дальше ничего нельзя было запомнить. Кровь слишком горячо стучала в висках. Глаза почти не видели...

Вспыхивали зажженные спички, голубели пятна луны...

Отец хрипит. Бандит ругается грузным басом, бросает стул, ломает дверь шкафа, и бледное тело Рахили на полу, на самой середине комнаты, там, где стоит голубым ромбом спустившийся сверху лунный поток... Именно ромбом, как в геометрии...

За окном кричат... Это мадам Шнеерсон... а это ее дочка... а это еще кто-то...

Нужно лежать тихо, нужно, чтобы бандит не заметил маленького гимназиста, нужно не шуметь, не дышать. А проклятое сердце стучит так громко, что, кажется, земля колыхнется от его ударов. Оно стучит громче, чем кричат мадам Шнеерсон и ее дочка... громче, чем хрипит отец и рыдает, задыхаясь, Рахиль...

Миша прячет лицо в рукавах гимназической куртки. Висок прижат к стене, и шершавая стена колыхнется у виска.

А потом бандит спотыкается о колченогий табурет.

Табурет падает. Бандит ругается долго и со злобой. Второй возится на полу, где Рахиль громко дышит и хрипит... А потом дверь жалобно скрипит под ударом плеча, и другая дверь в сенях сразмаху налетает на стену так, что оконные рамы дребезжат, словно по булыжникам в переулке прокатил рысью водовоз Лейба.

Миша отрывает лицо от увлажненных потом и слезами рукавов. Мертвые лунные пятна на полу, белые раскинутые руки сестры, черные струи волос и черные струи... крови...

Брошенная бандитом коробка спичек... Машинально пальцы сжали хрупкий коробок...

Больше нельзя оставаться здесь, в этом доме, где мертвая луна, где бандиты сломали дверь шкафа, опрокинули стол... Зуб не попадает на зуб. Мише кажется — он видел не бандитов. Хрупкое горло отца держит корявая рука городского Гончаренки. Разве это был Гончаренко? Исправничьи широкие плечи... бандитский хрип. Здесь нет больше никакой надежды, здесь черные пряди волос плавают в черной крови, и луна на полу — холодным светом, чужим и нездешним...

Дверь настезь... Миша бежит по переулку. У дома Шнеерсонов какие-то тени. Дом наверху объят пламенем. Большой дымный факел. К нему спешат снизу и сверху люди... Не то на помощь, не то на последний вороний грабеж.

Но теперь и у дома Шнеерсонов, и у дома Гайсинских тени мелькают при свете крутящихся огневых вихрей. Языки пожара поднялись выше крыш, выше белых труб...

В тени, от ограды Святой Троицы Миша взбежал наверх, останавливаясь только для того, чтобы перевести дыхание. Не взглянув больше ни разу назад, он оставял позади один за другим кварталы верхнего города.

Проплыла в ночном голубоватом океане невысокая

каланча с поднятым над городом одиноким огоньком. Острый шпиль гостиницы «Петербург». Вот синагога с круглыми окнами в красном кирпиче. Сенная площадь, пустые коновязи в ряд, и у телег на земле, на пиджаках и свитках — приезжие крестьяне. Вот военная церковь над маленьким озером и, наконец, дорога в поле, по которой Миша столько раз неся на паре черных, шелестящих серебром, Козьявкиных лошадей.

Отрадное — это как Лысая гора, на которой справляют шабаш киевские ведьмы и черти в генеральских мундирах, в исправничьих кителях, в блистающих шелком фраках, с белыми щитами манишек. Там замышляют гибель, оттуда идут в ночные переулки бандиты с железными палками для того, чтобы жечь, грабить и насиловать. . .

Миша сжимает в руках коробку спичек — его единственное оружие.

Бандит поджжет дом «варшавского портного» Гайсинского, — Миша сожжет Отрадное!

Он знает, где лежит сухое сено. Если подложить под высохшие доски веранды охапку сена и бросить туда зажженную коробку спичек, никто не спасет проклятого дома, где пьют за успехи бандитских налетов.

Миша отчетливо представлял себе каждую щель подгнившей тяжелой веранды, растрескавшиеся деревянные колонны, по которым побежит огонь, зеленую крышу, абрикос — дуплистое дерево, посаженное еще дедом Козьявки, зеркальные окна, белую дверь, стекла которой треснут и рассыплются от жары выпущенного на волю пламени. . .

На придорожной траве серебрились капли росы. Чертополох лез из канавы на дорогу. Поле уходило вдаль и куда-то вниз, а Миша бежал, не чувствуя тяжести в ногах, словно сделал он несколько шагов, а не много километров.

И вот уже поворот, и вот избушка сторожа, и липовая аллея, которая ведет в усадьбу.

Большая красивая луна встает над деревьями... Но ведь луна только что светила мертвым светом в окно их маленького дома! Она плыла над Днепром. Когда же она успела обойти небо и спуститься к горизонту? Миша остановился. Нет, вот она, луна, — она высоко, почти полным кругом, как разрезанное яблоко. Нет, это не луна поливает усадьбу потоками кровавого закатного цвета. Это тоже, как зарево пожара!

Миша зашагал в поле, и старые липы отступили и открыли перед ним горизонт.

Нет сомнения, — это горит Отрадное! Значит, кто-то раньше Миши подложил сено под высохшие доски веранды и метнул туда пламя.

Большой алый язык вырвался и поднялся над домом. Метла черного дыма прошла по небу. За нею другая, третья. Лепестки живого, оранжевого цветка — поднялись языки пламени, и в огромной чаше его утонул силуэт помещичьего дома.

Миша опять пошел к дороге.

Теперь колени его налились свинцом. Ботинки стали пудовыми.

От Отрадного неслись крики — смятый расстоянием гомон толпы.

По дороге раздался топот. Карьером неся к усадьбе драгунский патруль. Лошадь передового всадника шаркнулась в сторону, поровнявшись с Мишей.

— Чорт! — выругался всадник и хлестнул коня нагайкой.

— Стой! — поднял он руку.

Патруль стал, кавалеристы окружили мальчика.

— Ты откуда? — злобно спросил вахмистр.

Миша молчал.

— Ты что, хозяйский, что ли?

Несколько всадников спешили и стали в упор разглядывать гимназиста.

— Какой хозяйский? Жидок! — сказал один из них и презрительно сплюнул.

— Да ты что молчишь все? Языка лишился? — закричал вахмистр.

— Гляди, а у ево в руках спички! Може, он и поджогу устроил?

— Гм, — соображал вахмистр. — Ну-ка, катай с нами, паренек. Там разберемся!..

Миша молча, покорно пошел к Отрадному.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Медленно, как журавли в высоком небе, тянутся дни занятий, и легко, как ласточки, пролетают дни каникул. Обласканные солнцем, пахнущие ягодами и смолистой хвоей — были и нет их, и в молодой забывчивой памяти ничего не осталось, только солнце, стоящее над колосистым полем, только днепровские волны да колыхание цветущих садов.

Еще до акта гимназисты группами слонялись по вновь отремонтированным коридорам, говорили свободнее, чем обычно, читали вслух газеты и даже задавали педагогам вопросы из области политики.

В обширной гимназической уборной стояло небывало густое облако папиросного дыма, и сторожу Василию не дали даже закрыть дверь в шинельную. Гимназия по своему учла дух вольности и протеста, реявший над всей страной.

Директор начал речь сдержанно. Говорил, что страна переживает тяжелое время, но что гимназистам нужно учиться. Намекнул, что именно теперь родине нужны полезные, культурные граждане, и потому молодежь обязана относиться к занятиям еще более внимательно, чем раньше.

— Вот лисица! Кто бы сказал? — говорили в коридоре. — Откуда такие дипломатические способности? Речь на всякий вкус подходит — и нашим и вашим.

— А кто это «ваши»?

— А вы за кого, товарищ?

Слово «товарищ» заменило прежнее церемонное слово «коллега».

Впрочем, все знали, что в гимназии готова разгореться война.

— Ты слышал, — спросил Ливанов, — какая стычка была на-днях между семиклассниками и восьмиклассниками?

— Слышал и удивляюсь, как это так случилось, что в одном классе все черносотенцы, а в другом все либералы?

— Ничего странного нет. В шестом классе кто коноводил? — Карпов. Хулиган, человек некультурный. Метит в юнкерское и настроен так же, как наш Матвеев. Затем сын Кулеша. Кем же ему быть, как не черносотенцем? Яблочко от яблоньки! . . . Затем Белькин, сын капитана, — военщина. Затем попович Архангельский. Чем не букет? А остальные плетутся за коноводами. А в седьмом классе — там грабарских сынков ни одного, все больше интеллигенция. Затем Вишневский — это ведь голова! Он давно политикой занимается. Его даже из гимназии хотели выгнать. Стихно и Козловский из крестьян — его друзья-товарищи. Соломон Коган, их три брата — Соломон младший, а старшие все с головой в политике. Так оно и складывается.

Десятого августа без четверти девять гимназисты парами, класс за классом, двинулись в нижний зал на общую молитву.

Директор опять поздравил всех с началом занятий и сразу повел речь о дисциплине. Заявил, что за лето гимназисты распустились, и в конце уже грозным голосом потребовал, чтобы летние вольности были немедленно забыты. Наступает учебный год, надо заниматься! — Нарушения дисциплины я не потерплю! — раздельно и внушительно закончил он свое слово.

Гимназисты пропели молитву. Новвыиспеченные шести-

классники прислушивались к голосам товарищей. Недавние альты старались брать теноровые ноты, безголовые неуклюже басили, приставив для звучности руку ко рту, и посматривали на соседей вопросительно: дескать, не заметил ли, какую я ноту отхватил!

Священник, отец Давид Ливанов в фиолетовой рясе, под которой обрисовывалось короткое круглое тело, — две тыквы одинаковых размеров, одна на другой, — размахисто перекрестился и, скрипя высокими сапогами, поднялся на возвышение.

— Ей-богу, речу отхватит папахен, — сказал Ливанов-младший. — Нож острый в сердце!

— О чем будет, Костя? — потянулись к нему соседи.

— Я не сторож брату моему, — отшутился с горечью Ливанов-сын.

— Дети! — начал священник и простер по-бабьи пухлые, короткопалые руки над залом. — Дети мои! — повторил он.

— Сколько же у тебя детей? — спросил кто-то сзади полушопотом.

Смешки редкими всплесками пошли по залу.

— В годину трудную начинаем нашу учебу. Наша возлюбленная родина, наша великая Святая Русь колеблется под ударами врагов на полях сражений и, что самое тяжкое, колеблема внутри, на улицах и на стогнах древних градов наших. Верные сыны России, благословляемые церковью Христовой и водимые великим государем нашим, ведут битву с врагами внешними и внутренними. Студенты же и социалисты за деньги, полученные от жидо-масонов, англичан и японцев, стараются разрушить силу родины нашей. Враги наши действуют по наущению дьявола...

Здесь поп весь вскинулся, затряс головой и сжал руки в жилистые, поросшие волосами кулаки.

— Вижу, вижу тень дьявола над вами! — Голос его пе-

решел в истерический крик. — Вижу, вижу, наклонилось крыло когтистое! Сатана тщится о душах ваших... Изыди, изыди!..

Он размашисто закрестил обеими руками дальний угол.

— На колени, дети мои! Молитесь со мною! — Он сошел, почти сполз с возвышения и бахнул на колени, приглашая следовать за ним всех гимназистов.

Кое-кто из малышей в передних рядах послушно стал на колени. Но задние ряды стояли недвижно, угрюмо, опустив глаза в пол.

Хромой Бес, в качестве регента стоявший ближе всех к гимназистам, также упал на колени, просительно смотря на директора.

Но остальные педагоги только переваливались с ноги на ногу.

Было ясно, что никакого единодушия в зале нет.

И от этого всем стало не по себе, тоскливо и противно.

Начиная от директора и кончая приготовишками, никто не знал, что же нужно делать.

Тогда из задних рядов вылетело громкое лишнее слово: — Комедиант... паскуда!

Водовоз бросился спасать положение. Он подбежал к священнику, подхватил его под грузные, рыхлые плечи и стал поднимать, приговаривая:

— Батюшка, отец Давид, что с вами, успокойтесь! Не волнуйтесь. Господи!..

Отец Давид сделал вид, что бьется в истерике. Вставший с колен Хромой Бес и Водовоз увели рыдающего попа из зала.

Директор круто повернулся на каблуках и твердыми шагами пошел по звонким коридорам в свой одинокий кабинет.

Гимназическое море бушевало. Попа ругали, высмеивали, издевались над ним. Кто-то рявкнул;

— Погромщик!

И тогда из другого конца коридора понеслось:

— Мало вас били! Еще не такой погром будет!

— Кто сказал? — вырвался вперед Кравчук, и длинные пряди волос упали на лоб юноши. — Выходи, имей смелость!

— И выйду! — продолжал визгливый голос. — Думаешь, испугался? Думаешь, если битый, так герой?

Сквозь толпу продирался к Кравчуку скуластый, желтолицый семиклассник Карпов.

Но Хромой Бес исполнял уже свои обязанности.

— Господа, господа, не увлекайтесь! Здесь не площадка для бокса! Здесь гимназия, господа! Гимназия!.. Расходитесь по классам!

Многолетние навыки действовали. Голос педеля все еще гипнотизировал, и гимназическое море растекалось девятью струями по высоким белостенным, все еще залитым летним солнцем, классам.

В молитвенном зале, припав к обитому клеенкой столу, плакал слезами детской обиды, тупой боли и гнетущего стыда Костя Ливанов...

Дни занятий выстраивались серыми ровными столбиками, и столбики на отдалении сливались в серую длинную, уходящую за горизонт, ленту.

Только события в больших городах, весть о которых приносили газеты, да еще схватки между седьмым и восьмым классами время от времени нарушали обычный ход занятий.

Выше поднималась волна событий во всероссийском масштабе, — резче и острее становились стычки двух маленьких лагерей, заключенных в стены двухэтажного здания, увенчанного позолоченным двуглавым орлом.

Гимназическая вольница проявляла стремление к свободе по-своему. Некоторые взяли себе за правило не учить уроков. В начале занятий группа гимназистов

поднималась и заявляла, что урок на сегодня не приготовлен «по причинам семейного характера».

Когда преподаватель ставил кому-нибудь двойку или кол за внимание, гимназисты вступали с ним в длительные пререкания, что раньше считалось немыслимым.

Учителя избегали резких столкновений с гимназической массой, почти прекратили обычные издевательства, и, наконец, по гимназии пронесся слух, что будут отменены экзамены.

Чтобы отвлечь гимназистов от политики, начальство, может быть, по собственной инициативе, а может быть, по приказу свыше, приняло неожиданные и не лишённые мудрости меры.

Больше не возбранялось — хотя вслух об этом никто не говорил — ходить по городу до позднего вечера и даже «с особами женского пола», а в двух женских гимназиях, в коммерческом и общественном клубах каждую неделю устраивались танцевальные вечера. Можно было подумать, что страна переживает радость большой победы или вступает в период процветания.

Официально гимназистам разрешалось оставаться на танцах до двух часов ночи, но молодежь осаждала присутствовавшего на танцах директора или инспектора просьбами, — и они снисходительно разрешали продолжить танцы до четырех часов утра.

Ход оказался удачным. Часть гимназистов и гимназисток старших классов с невиданной энергией предавалась искусству хореографии. Гимназией были приглашены два учителя танцев, у которых не было отбоя от учеников.

Юноши и подростки, подогреваемые прочтенными под партой и в постели романами, флиртовали, писали нежные записки на раздушенной бумаге, царапали отвратительные стихи. Кавалеры воровали у подруг ленточки, носовые платки и перчатки и изрезывали свежестремонтированные парты инициалами «любвей» и «симпатий».

Но гимназическая крамола шла своими сложными путями. Баритоны и флейты чуть ли не каждую ночь до утренних лучей надрывались над днепровскими обрывами. Потные гимназисты, встряхивая разросшимися шевелюрами, выводили на балконы взволнованных девушек с пушистыми косами, множилось число непризнанных поэтов, но даже в разговорах гимназистов с симпатиями чаще всего возникали именно политические темы, и образ героя-революционера неожиданно высоко поднялся над литературными фигурами дворян в оперенных пляпах и кружевных воротниках.

А главное, все больше и больше становилось таких, кто, начисто пренебрегая танцульками, закрыв уши, чтобы не слышать надоевшей «Лесной сказки», усиживали солидные тома новых властителей дум — Энгельса и Дарвина, чувствуя, как вырастают между строками, требуют признания настойчиво и властно новые идеи служения обществу.

В октябре неожиданно приехал из Одессы двоюродный брат Андрея, Федор.

Получив телеграмму о приезде племянника, Костров не выразил большой радости.

— Во время учебного года — в гости! Не понимаю. Спасается, должно быть, от каких-нибудь неприятностей. Значит, папенькин либерализм впрок пошел! Смотри мне, — обратился он к Андрею, — не развешивай уши на болтовню Федора. И без того не знаю уж, как этот год пройдет.

Но именно эти слова отца неожиданно возвысили Федора в глазах Андрея, Ливанова и Котельникова. Федора ждали. А когда он сообщил друзьям, что его гимназия закрыта за забастовку, в организации которой он принимал деятельное участие, — ребята все свободное время стали проводить с приехавшим семиклассником.

Разумеется, с Федором следовало говорить о политике, и в первый же день Андрей и Костя, захлебываясь, наперебой рассказывали о событиях в горбатовской гимназии, о борьбе между седьмым и восьмым классами, о Марушке, о речи отца Давида на молитве. Но Федор слушал все это снисходительно как любопытные, но второстепенные мелочи и, наконец, перебил Андрея:

— Ну, словом, как всюду. Где теперь спокойно? А ты вот скажи мне, что вы, собственно, делаете?

— Как, что делаем?

— Что вы, гимназисты, делаете для того, чтобы поддержать революционное движение в стране?..

— То есть как поддержать революционное движение? — недоумевающе переглянулись Андрей и Ливанов.

— Вы же мне здесь битых два часа твердите, какие вы великие революционеры. А когда я вас спрашиваю, что вы сделали для революции, так вы смотрите друг на друга, как два молодых грача.

— Ты напрасно шутишь, — обиделся Андрей. — Мы читаем, учимся, организуем кружки и всякое такое..

— Какие кружки? Ты о кружках ничего не говорил. В этих кружках только гимназисты? Кто их ведет?

— Да, кружки, собственно, какие?.. Домашние. Кто ж у нас может вести настоящие кружки?

— Ну, а с рабочими вы связаны?

— Вот ты о чем?! Ну, так я тебе скажу, что у нас и рабочих настоящих нет.

— Ну, я вижу, у вас ничего дельного нет. — Он вдруг повернулся лицом к Андрею. — Как это нет рабочих, а сахарный завод, а табачная фабрика, а лесопильни? Вот ты говоришь, что у вас даже демонстрация была...

— Черносотенная, — перебил Ливанов.

— А революционной демонстрации не было?

— Пробовали... полиция разогнала. Но гимназисты не участвовали.

— Ну и городок! — развел руками Федор. — Надо связаться с теми рабочими, какие есть. Надо работать с ними. А так... Неудивительно, что у вас в гимназии одна возня.

— Что ты все у вас, у вас... а ты скажи, что у вас?

— Ты что, с луны свалился? Ты не знаешь, что делала молодежь в эти дни? Не читал газет о выступлении московской, петербургской, одесской молодежи? А в Харькове, Ростове? Целая армия. Выступают рабочие, — выступаем и мы. Со всеми заводами, железнодорожными мастерскими, с портовиками — контакт. Кружки у нас вели подпольщики, те же, что и среди рабочих.

— Так у вас большой город, — смущенно протянул Ливанов, — а у нас — дыра.

— Да ну, что об этом говорить. Без пролетариата, какая же революция? — уже совсем снисходительным тоном, разочарованно сказал Федор. — Город у вас, правда, особенный. Заводов — кот наплакал, а подрядчиков, грабарей, да купцов — невпроворот. Весь город особняками застроили.

— Ты что, социал-демократ? — спросил Андрей.

— М-гы... — важно промычал Федор.

— И принадлежишь к организации?

— М-гы... — На этот раз мычание было не столь уверенным. — Через организацию учащихся, конечно.

Этот разговор оставил неприятный осадок в сознании горбатовских гимназистов. Все у них не как у людей. Всюду события, а у них возня. Всюду герои, а у них — мальчишки. О горбатовских заводах они и понятия не имеют. А в этом, оказывается, вся суть.

Через несколько дней Федор уехал по телеграмме, не успев передать свой революционный опыт Андрею и его товарищам.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Дежурные один за другим срывали листки отрывного календаря, который висел над кафедрой. Вершковые цифры по-казенному отсчитывали неуловимое таинственное время. Вот уже кончился август, еще полный отголосками каникул и вольницы, прошел сентябрь, и с календарных листков глянул жирной единицей октябрь.

А о Мише Гайсинском ни слуху, ни духу. Новоиспеченные шестиклассники знали, что Рулева, Фомина и Степаненки нет потому, что они оставлены на второй год, что Ставский — воплощенная вежливость и барский лоск — уехал в Варшаву, что Женьку Олтаржевского отправили в Петербург в морской корпус, так как он был потомственным дворянином и внуком адмирала.

Но никто не знал, что случилось с Мишей Гайсинским.

Классный наставник, Владимир Васильевич Горянский, на вопрос Ашанина невежливо буркнул:

— Это к делу не относится. Гайсинский исключен из списков гимназии.

Андрей и Ливанов подошли как-то после всеобщей к одиноко шагавшему Маруцку и, приподняв фуражки, спросили:

— Можно вас проводить, Игнатий Федорович?

— Пожалуйста, прошу вас, — не менее вежливо ответил Маруцук. — Ну, как живете, шестой класс? Нравится ли вам программа? Хотя вас гимназия, кажется, не удовлетворяет? Сознайтесь!

— Это верно, Игнатий Федорович. Но мы по вашему совету... много читаем из истории, кое-что по экономике... из литературы...

— Это хорошо. А как ваши увлечения Марксом?

— Мы прочли «Капитал» в изложении Каутского и хотели бы прочесть Маркса полного. — Андрей покраснел, вспомнив, что «Капитал» был возвращен недочитанным. — Но, если говорить честно, к сожалению, мы еще не подготовлены к такой литературе.

— Это хорошо, что вы сознаете трудности такого чтения. Придется кое-что почитать предварительно...

— Да, но мы вовсе не отказываемся от таких книг.

— Ну, что ж, в добрый час! Вы, вероятно, хотели спросить меня о книгах? — Марущук был уверен, что этим вопросом он облегчает задачу гимназистам.

— Нет, Игнатий Федорович, сейчас мы к вам по другому делу.

— Вот как! — удивился Марущук.

— Нас очень интересует судьба нашего товарища Михаила Гайсинского. Мы так и не знаем, что с ним случилось. Куда он исчез?

Марущук сразу пошел медленнее и по привычке стал рассматривать на каждом шагу носки начищенных ботинок.

— Да! — нарушил он наконец молчание. — Ну, что ж! А разве Владимир Васильевич, ваш классный наставник, ничего вам не сообщал о товарище?

— Мы спросили его, где Гайсинский, но он резко заявил нам, что это к делу не относится и что Гайсинский исключен из списков.

— Да, педагогический совет действительно решил исключить Михаила Гайсинского из списков. Дело в том, что Гайсинский исчез при весьма странных обстоятельствах... Словом, правильно будет сказать, что Гайсинский стал одной из жертв погрома...

— Как погрома? Его убили?

— Нет. Не в этом смысле. Дом Гайсинского был сожжен. Ну-с, и под развалинами полуобгорелой постройки, — пожар, удалось прекратить, хотя и не вполне своевременно, — был найден труп старика-отца с рассеченной головой и рядом труп... девушки, зверски изуродованный. Повидимому, над ней совершили гнуснейшее насилие. — Марущук брезгливо поморщился. — Вообще тяжело даже говорить об этом.

— Ну, а Миша? — в один голос спросили гимназисты.

Марущук развел руками.

— Вот уже почти месяц, как Гайсинского нет, и нет никаких точных вестей о нем. Говорят, что он был арестован недалеко от Отрадного, имения Савицких... И как раз во время пожара. Но это только слухи. Проверить их, кажется, так и не удалось.

Взволнованные и удрученные, гимназисты расстались с педагогом.

— Как это мы до сих пор по-настоящему не заинтересовались судьбой Миши? — размахивал кулаками Ливанов. — Какие мы после этого товарищи? Я все собирался сходить к нему, а потом как-то завертелся. Но вы же никуда не уезжали из города. Неужели вы ничего не слышали о нем?

— А откуда услышать? — горячился Андрей. — Из газет, что ли?

— Ну, а хотя бы из газет.

— А ты о погроме там хоть что-нибудь читал? Ничего, брат, — тишь да гладь и божья благодать!..

У Монастырских к гимназистам вышел старший брат, студент Яков. Он выслушал их и сказал:

— Очень рад, что товарищи интересуются судьбой Миши. Но, к сожалению, и мне нечего вам сказать. Миша исчез внезапно и не предупредил никого из нас. Мы знаем только, что он не погиб во время погрома. Не-

давно он прислал на мое имя записку, но в записке нет никакого адреса.

— Что же он писал в записке? — спросил Котельников.

Яша замаялся.

— Да так, ничего особенного... Всего две-три строки.

— Но все-таки, неужели ничего нельзя заключить из записки!

— Увы, ничего.

— Но что же там было написано? — настаивал Котельников.

Ясно было, что Яша не хочет показывать записку гимназистам. Андрей незаметно толкнул Василия, но Котельников закусил удила. Широко раскрытыми глазами он глядел на Яшу и всем своим видом недоумевал. — Ну, если вы так хотите знать, что написал Миша, — смотрите, читайте! — решил наконец Яков.

Из потрепанного желтого бумажника он извлек смятый, захватанный клочок бумаги.

Василий, не колеблясь, развернул записку. Неровным почерком, слепым карандашом, словно писали на колене, на чужой спине или на заборе, было выведено:

«А как поступают социал-демократы, когда у них убивают отца и сестру? Призывать к забастовке и не ходить в гимназию? Теперь я вижу, что бастуют только те, кому спокойно живется. Во время погромов не до забастовок. До свиданья!

Миша»

Гимназисты смущенно топтались на месте.

— Уж если на то пошло, так садитесь, господа. Поговорим, — сказал Яша. — Мне как-то Миша говорил о вас. Вы хотели образовать кружок, читаете Маркса, занимаетесь политикой. Но из большинства гимназистов, извините меня, выйдут плохие революционеры. Из мно-

гих выйдут неплохие чиновники, прокуроры и судьи. Все чиновники когда-то были гимназистами и студентами, но, получив службу, поспешили забыть юношеские увлечения. Важнее всего стало жалованье двадцатого числа. Чтобы быть революционером, нужно отдать на служение трудовому народу всю жизнь. Пойти на все лишения и опасности. Как идет солдат в бою. Нужно порвать со своими, если они против революции. Это — вопрос всей жизни. Окончившему университет и без революции живется сносно... Я понимаю, вам многое не нравится. Но не в этом же дело. Рабочий класс и революционная социал-демократия ставят перед собой широкие задачи. Они хотят перестроить все общество. Уничтожить эксплуатацию. Освободить труд.

Мальчики слушали внимательно, но временами их быстрое воображение переставало следить за словами студента. «Освободить труд. Что это значит? Это понятно и непонятно».

— Для революции, для этой великой битвы за новую жизнь, нужны большие организованные армии рабочих, для которых революция — единственный выход из голодной и бесправной жизни. Сейчас первая задача революционера — это создание этих армий.

Армия — это было понятно. Это было величественно. Это волновало.

— Теперь о Мише... — продолжал студент. — Конечно, такое горе не легко перенести. Может голова закружиться... даже у спокойного человека. Миша ведь никогда не выглядел героем. Он все мечтал быть архитектором. А вот сейчас, этой запиской, — Яша потряс в воздухе клочком бумаги, — он призывает к личной мести, к бомбам, к террору. Но что может сделать один человек? Что могут сделать десять человек? Сто человек, наконец, тысяча, у которых убили брата, сестру или мать? Поверьте, создать на заводе кружок революционеров сей-

час гораздо важнее, гораздо опаснее для этого проклятого строя, чем бросить бомбу, хотя бы даже в генерал-губернатора. Даже если эта бомба разорвет его в клочки, завтра будет новый генерал-губернатор!

— А вы думаете, что Миша пошел к террористам? — спросил Андрей.

— Куда он мог пойти? Ведь он еще мальчик... И где это живут террористы? Вы знаете адрес террористов? Но для меня ясно, что Миша в отчаянии и готов пойти на самые нелепые шаги. Если бы я знал, где он, я научил бы его, что делать. Я послал бы его на завод. Там он научился бы бороться вместе с миллионами, которые не могут не победить.

Яша говорил теперь горячо, жестикулируя, и Андрей думал, глядя ему в лицо: «Как он разгорячился. Глаза горят, а говорит, как оратор».

— Вашего приятеля, Петьку Стеценко, я уже устроил на завод, и он очень доволен. Там из него выйдет толк.

Но гимназисты ушли от Монастырского с уверенностью, что Миша отправился именно к террористам. В газетах то и дело пишут о взрывах бомб, о покушениях на губернаторов и министров. Миша тоже где-нибудь в подпольи готовит бомбы или перевозит динамит.

Маленький Миша Гайсинский вырастал в представлении мальчишек в героя революции, подобного Желязову, Перовской.

— А я не верю в эти штучки, в миллионные армии, в кружки на заводах, — запальчиво заявил на улице Ливанов. — Революционер — это тот, кто не ждет, пока с ним будут тысячи.

— Нет, это величественно, — размышлял вслух Андрей, — собрать миллионы. — Он рисовал в воображении площадь в рядах и знаменах. — Ряды, ряды!.. Армия — это сила!

Товарищи решили никому в гимназии о Мише Гай-

синском не рассказывать, но слухи, что Миша Гайсинский поджег Отрадное и был арестован, пошли по классу.

Через день говорили уже, что Миша бежал из полицейского участка, затем перевозил для террористов динамит, что где-то, — кажется, в Бердичеве на вокзале, — он был арестован вторично с четырьмя чемоданами, набитыми бомбами.

Андрей решил, что это проболтался Ливанов, и высказал свое подозрение. Но Ливанов сразу обиделся и не стал даже оправдываться. Котельников в ответ на такое же обвинение взял Андрея за плечи и дал ему пинка, от которого тот оказался на другом конце класса. Андрей не обиделся. Наоборот, он сразу же уверился в том, что Котельников не виноват. Осталось пребывать и дальше в недоумении.

В горбатовской гимназии, как и в других, был обычай дарить любимым учителям в день рождения или юбилея поларки. Заранее узнавали день семейного праздника педагога-любимца, устраивали складчину и с торжеством преподносили серебро или торт на каком-нибудь из уроков. Педагоги, не завоевавшие симпатии гимназистов, этой чести никогда не удаивались, и гимназическое начальство не одобряло этих подарков.

Признательность молодежи завоевать нетрудно. Кто преподает увлекательно, не издевается, не грозит на каждом шагу волчьим билетом, изгнанием из гимназии, не ставит направо и налево колы, — тот и хорош.

Но когда был поднят вопрос о том, что четвертого октября, в день рождения Игнатия Федоровича Марущука, следует преподнести ему какой-нибудь подарок, в шестом классе дело не пошло гладко.

— Не прикажешь ли послать именинный пирог главному горбатовскому раввину? — ехидно спросил Козьявка, усевшись на кафедру и прищурив правый глаз.

— При чем тут раввин? — смутился Ливанов, который

вносил предложение о покупке торта или портсигара, стоя у доски.

— Оба — жидовские защитники.

— Ты болван, Козьявка. Не понимаю, как у тебя хватает совести нести такую чушь перед всем классом!

Козьявка тяжело соскочил с кафедры, стукнул кулаком по доске и с необычайной для него экспрессией закричал:

— А как у тебя хватает смелости предлагать классу дарить подарки бунтовщику?

— Ты думай, о чем говоришь! — крикнул Андрей.

Матвеев по-кавалерийски — раз-два-три! — перепрыгнул через парту и, оказавшись на середине класса между Козьявкой и Ливановым, закричал:

— Конечно, бунтовщик! А Мишка Гайсинский тоже не бунтовщик? Бомбист, убийца! Ваш приятель!

— Если ты знаешь о Гайсинском хоть что-нибудь, кроме сплетен, то тебе стыдно говорить о нем такие вещи, — с места сказал Котельников.

— Если ты знаешь о Гайсинском все, то тебе должно быть стыдно за все наши порядки! — закричал, вскакивая, Берштейн.

— Обизвався козак на солодким меду! — осклабился Козьявка.

— Кому и защищать бомбистов, как не тебе.

— Тебе, болвану, не втолковать такие вещи, — сорвался с места, весь встрепанный, Якубович, — но это, конечно, чорт знает что. Готтентотские нравы! Мальчика, подростка хватают, тащат в участок на другой день после того, как черносотенцы убили его отца и сестру. Перестрелять такую сволочь мало!

— Это кого перестрелять? Ты говори прямо! — закричал Козьявка.

— Не виляй хвостом! — поддержал Матвеев.

— Кого? — спросил Якубович, выдерживая паузу. — Ты

не знаешь кого, я бы не постеснялся тебе сказать, но, во-первых, считаю бесполезным, а во-вторых, желаю избавить тебя от необходимости сделать подлость, пойти и наябедничать директору.

— Трусите, подлецы! — обрадовался Козьявка. — Все намеками. Смелости нехватает сказать честно. И какой ты мне товарищ?! Ты — враг.

Якубович уже не сдерживался:

— Ах, так?! Так я тебе скажу, — всех твоих гадов, начиная...

Котельников усадил Якубовича на парту и плотно закрыл ему рот рукой.

— Ну вас к чорту, тут с вами дел не оберешься. Довольно! Я вижу, нам не сговориться. Мы действительно не товарищи, а враги. Война, так война. Предлагаю всем порядочным шестиклассникам с Козьявкой и его компанией не разговаривать.

— Плевать я на тебя хотел, — презрительно заявил Козьявка. — Вам же хуже будет...

Со всех сторон к нему собирались патриоты — Матвеев, Казацкий, Салтан... Ободренный верностью друзей, Козьявка подошел вплотную к парте Василия и дерзким тоном заявил:

— Я вот устрою заставу богатырскую у дверей класса, ты не выйдешь и не войдешь.

Котельников насупил резко выведенные черные брови.

— Что ж молчишь, смелости набираешься? — спросил Козьявка.

Василий поднялся с парты и молча пошел к выходу.

Козьявка сзади схватил его за кушак и с силой рванул к себе. Металлическая перемычка на серебристой пряжке сломалась, и кушак остался в руках Козьявки.

— Отдай! — резко потребовал Василий.

— Пойди, возьми! — крикнул Козьявка, бросая кушак в

угол за доской, где стоял широкий мусорный ящик. Компания Козявки заржала.

Тогда Котельников сам шагнул к Козявке и схватил его за грудь. Козявка изогнул спину бугром и пытался поднять Котельникова и бросить на парту.

Борьба длилась недолго. Васька железной хваткой схватил Козявку накрест и упорно, по-бычьему, начал ломать тугую Козявкину спину. Весь класс замер. Никто не посмел броситься на помощь товарищам.

Козявка рывками пытался сбить Котельникова с ног. Но Васька стоял крепко. В злобе Козявка схватил его за подбородок, оставляя на щеке царапины.

Друзья Котельникова закричали:

— Неправильно, неправильно!

Но Василий, не обращая внимания на боль, гнул и гнул врага, и вскоре стало ясно, что Козявка выдыхается. В неистовой злобе он вшил зубы в Васькино плечо, и тогда Котельников, спружинившись, рывком тела бросил Козявку на пол.

Только тогда налетели на борющихся одноклассники и растащили их в разные стороны.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Отгорели пожары, прошли городскими улицами печальные кортежи, похороны жертв, и память о погромах стала в стороне от житейского пути школьников, одетых в форму Первой министерской гимназии.

Но события в стране разворачивались, как пружина, освобожденный конец которой со свистом сечет воздух и больно бьет зазевавшихся.

В Одессе гремели пушки «Светлейшего князя Потемкина»; в Манчжурии закончилась неделя на Шахе; Теодор Рузвельт, президент, банкир и охотник, готовился решать спор русского царя и японского микадо; Москва щерилась рабочими баррикадами, и эти бури большого житейского моря приходили в тихий город на Днепре, волнуя и его прикрытую провинциальной глушью заводь.

В гимназии сначала побеждали семиклассники. Они аккуратно каждый день украшали цветами портреты царя в актовом зале. В церкви на молебнах, на молитве они нарочито громкими голосами отчеканивали: «Бла-го-вер-но-му им-пе-ра-то-ру на-ше-му!..» Они носили в петлицах георгиевские ленточки, участвовали в монархических манифестациях и писали на стенах, главным образом, в уборных: «Да здравствует самодержавие!» и «Бей жидов!»

Восьмиклассники держались особняком. Они ходили группами, беседовали по углам с задумчивыми лицами,

читали появляющиеся из рукавов брошюры и листовки, на молитвах, вместо «Бла-го-вер-но-му им-пе-ра-то-ру...», громко мычали, стараясь смять четкость выкриков своих врагов, и рядом с черносотенными надписями писали на стенах: «Долой черносотенцев!» и «Да здравствует республика!»

О том, чтобы привлечь на свою сторону другие классы, гимназические революционеры не заботились. Они как бы рисовались «героическим одиночеством». Иные из них были связаны со студентами из Киева и Одессы, а то даже и с рабочими с небольших горбатовских предприятий, но все это были личные узы, случайное преимущество того или иного гимназического бунтаря.

Впрочем гимназисты-восьмиклассники уже успели охладеть к политике. На носу было получение аттестатов зрелости, и семейная успокоительная агитация делала свое дело.

— Поедем в Киев, — говорили и думали эти неудавшиеся якобинцы, — и тогда будет видно, может быть, пустимся в политику во все тяжкие. Осталось потерпеть немного.

Шестой класс раскололся. Часть, во главе с Якубовичем, Берштейном, Ливановым и Андреем, установила регулярные сношения с восьмым классом и даже посещала тайные собрания старших на квартирах, другая, во главе с Матвеевым и Салтаном, подчинялась всем указаниям гимназического черносотенного лидера, Карпова.

Победа Котельникова над Козьявкой поставила группу Ливанова и Андрея на первое место в классе. Товарищи Козьявки обходили теперь победителей и в классе и на гимназическом дворе.

Пропасть между двумя лагерями углублялась с каждым днем. Уже трудно было оставаться нейтральным. Заставили высказаться даже Молекулу-Киреева.

Молекула усиленно доказывал агитаторам, что мама запретила ему заниматься политикой, но товарищи подняли маменькиного сынка насмех, и Молекула в конце концов решил отдаться под чье-нибудь покровительство. — Я за того, за кого Васька Котельников, — внезапно сообразил он. И сейчас же продемонстрировал свою преданность избранному вождю тем, что прильнул к широкому Васькиному плечу маленькой прилизанной головкой.

— Вот балда! — смутился Котельников. — Да разве ты знаешь, за кого я?

— Я знаю, — по-детски улыбнулся Молекула. — Ты за правду! Ты хороший. — И он посмотрел Ваське в глаза так, как маленькие девочки с бантами в волосах смотрят в спокойные щели золотых глаз породистой ангорской кошки.

В разговорах друзья охотно именовали себя революционерами, но о партиях говорить избегали. Даже у восьмиклассников настоящей ясности по этому вопросу не было. Немногие считали себя убежденными социал-демократами, да два-три человека с таинственным видом шептались товарищам, что они-де, в сущности говоря, социалисты-революционеры.

Как-то среди отсутствовавших в классе оказалось имя Тымиша, «завязтого украинца и бандуриста».

— Он что, болен? — перекинув взгляд через ободки очков, спросил Горянский.

— На бандуре играет. В городе знаменитый лирник объявился, — сострил кто-то на камчатке.

— Остроты спрячьте про себя на завтрак! — почему-то обозлился Горянский.

— А учительские остроты и на завтрак не годятся! — ответил тот же басок с камчатки.

— Кто говорит дерзости? — поднялся на кафедре во весь рост Горянский.

Желающих подвергнуться наставничьему гневу не оказалось.

— Мальчишеский поступок! — резюмировал педагог. — Сказать — сказал, а сознаться страшно.

На четвертом уроке Андрей, Ливанов и Котельников получили записку от Тымиша.

«Прохаю товарищив буты у мене у семей годины в вечери. Цикава потребність. Дило нещоденне.

Тымиш»

Тымиш встретил товарищей с таинственным видом. — Бачете, хлопци! Я маю вас прохаты пийти до вид-подмоги мыни у одному политычному дилу. Але перше я прохаю вас дати гонорове слово, шо никто ничего ни узнае про нашу раду и про наше дило.

Гимназисты были заинтригованы вконец.

— Ну, ясно, ясно! Гонорове слово и все, что хочешь! Клятва на Евангелии и Коране!

— Клянемся аллахом и рукавами архиерейской жилетки!

Но Тымиш заломался.

— Если балаган, то я не скажу ничего. Дело не такое.

Пришлось пойти на уступки и в абсолютном молчании выслушать подробный рассказ Тымиша о «нештоденном диле».

Один из видных лидеров украинского движения К., известный далеко за пределами Киевщины, был арестован в Харькове, посажен в тюрьму и бежал при помощи товарищей. Ему предстояло пробраться через австрийскую границу в Галицию. За ним охотилась вся царская полиция и охранка. На железных дорогах, ведущих к Радзивилову и Волочиску, жандармы и шпики были снабжены фотографическими карточками К. во всех видах.

Именно у города Горбатова К. должен был перепра-

виться через Днепр. Горбатовские украинофилы получили шифрованную телеграмму о том, что К. уже выехал из Лубен на запад. Украинцы решили, что наиболее безопасным будет, если перевезут К. через Днепр гимназисты.

Полиция не заподозрит пятнадцатилетних мальчат в том, что они содействуют бегству опасного революционера за границу.

Предложение Тымиша было принято с восторгом. У Еськи была взята самая лучшая быстроходная лодка. Андрей сел на руль, Котельников и Тымиш — на весла, и челн понесся по зеркалу вечерних вод «с быстротой моторного катера», как выразился в приливе горделивых чувств Тымиш.

В Старике у старого явора, известного всем местным любителям поэтических прогулок по днепровским затонам, Тымиш вышел на берег и засвистал условленный мотив.

Гимназисты прислушивались ко всем звукам, какие досылала к ним ночь. А звуков было много: кричал коростель, шумела вода, налетая на широкие колеса ступняков — сукновален, шелестели на ветру гибкие лозы и, сверкнув серебром на луне, выплескивались, изогнув спины, могучие щуки и сомы.

Тымиш появился через четверть часа вместе с высоким плоскогрудым человеком в широкополой крестьянской шляпе из соломы. Луна вычертила две тени на прибрежном песке, и гимназисты, ни о чем не расспрашивая пришедших, подняли весла.

Причалили к лесным дачам далеко к северу от города.

Здесь Ливанову было поручено одному спустить лодку по течению к Еське, а Андрей, Василий и Тымиш отправились в город лесной дорогой.

На другой день ночью К., побрившись и перекрасив

волосы, с тросточкой и двумя плитками шоколада в кармане, вышел по дороге на местечко С., где он должен был сесть на поезд, идущий к галицийской границе.

После этого приключения гимназисты первым делом потребовали у Тымиша сочинения К. Но в брошюрах и рассказах К. «вильна Украина» и украинский народ упорно противопоставлялись Московии, и вся революция носила какой-то, как выразился Якубович, «уездный характер».

Критика гимназистов обозлила Тымиша, он обругал их идиотами и кацанами, отобрал брошюры и заявил, что им лучше всего читать Конан-Дойля.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Кто-то ворожил Ваське умно и настойчиво. Квартира оказывалась оплаченной во-время. В гимназию, повидимому, платили тоже. Смешно было представить, чтобы старый отец Васькин, Игнат Котельников, мог найти у себя за киотом столько трешниц и редкостных синих пятерок.

Это было то, о чем Васька не любил ни говорить, ни размышлять. Но раньше все в его, Васькиной, жизни казалось понятным, а теперь все запуталось.

Раньше Васька был убежден, что всему виною Мария Александровна Задольская, сельская учительница, которая решила: быть Ваське образованным! — уж очень он памятливы и быстр на соображение. Она занималась с ним вечерами целых три года, она уверила всех, что Васька необыкновенный мальчик и что путь у него в жизни особенный.

Васька любил учительницу больше отца и матери и носил ее карточку в боковом кармане в зеленой записной книжечке.

Но теперь ясно, что здесь работают и иные силы. Не только отцу, но и Марии Александровне не под силу платить за Ваську. Васька знал, что учительшиного жалованья едва хватало на башмаки и ситцевые платица.

Кто же тогда еще? Васька терялся... Единственная фигура, встававшая в памяти в минуты этих размышле-

ний, чужая и непрощенная, — это был заядлый охотник, бородатый красавец-великан, городской нотариус Гуляницкий, домовладелец и холостяк, проводивший на болотах у Васькиной деревни все субботы и праздники.

Ночевал он всегда у Игната Котельникова на сеновале, а зимой — на печи, откуда сгоняли Ваську.

Гуляницкий привозил с собою коньяк, закуски, вкусную охотничью колбасу, угощал всех и весело ржал под свои всегда одни и те же анекдоты.

Он щедро платил за ночевку, но не мог же он взять на свое содержание чужого крестьянского мальчишку...

Не он, разумеется, устроил Ваське и этот замечательный урок у Кернов, урок, который сразу изменил всю Васькину жизнь.

Смущало только то, что за месяц до вступления Васьки в горбатовскую Первую министерскую гимназию, Мария Александровна вызвала Гуляницкого на улицу и долго с ним беседовала, а мать Васькина проплакала беспричинно всю ночь...

Попав в богатый дом репетитором, Васька Котельников долго не мог освоиться с новой обстановкой.

Просыпаясь, он осматривал большую квадратную комнату с коричневой панелью и розовыми, в золотых цветах, обоями. После деревенской избы комната казалась ему музеем. В углу под стеклянным колпаком стояли мраморные часы с грациями. На стенах висели гравюры, писанные маслом старинные портреты, миниатюры в бархатных глубоких рамках, большой, как машина, барометр. По стенам расставлены были столики с инкрустациями, пузатые шкафы-маркетри, стулья со спинками в перламутре. На кроватях — белые, в кружевах, накидки, и по всей комнате — большой ворсистый ковер.

И все это для мальчишки-шестиклассника!

Весь же дом, с его двадцатью двумя комнатами, расположившимися в трех плоскостях, в бельэтаже, в мезонине и в высоком светлом подвале, наполненный нужными и ненужными вещами, казался Ваське чудесной новой страной, в которую он вступил неподготовленным и которую ему еще предстоит изучить.

Горничная в наколке, в белом, как февральский снег на реке, переднике, приходила по утрам будить гимназистов и казалась Ваське барыней, которая ради веселого спектакля переделалась служанкой.

Когда Женька полуголый, возбужденный и розовый принимался нахально обнимать девушку, у Васьки замирало сердце. Горничная энергично, но стараясь не шуметь, защищалась. Женька впопыхах целовал ее вместо шеи в спину и принимался безбожно разбрасывать вещи. Ночная рубашка летела на мраморные часы с грациями, вчерашние носки повисали на венецианской люстре. Он с шумом раскрывал окна. Прикрытый только полотенцем, сонными глазами глядел на улицу и совершенно голый бежал в ванную.

В большом доме часто бывало безлюдно. Шепотом переговаривались часы в разных комнатах. Уличный шум отдавался в переполненных коврами и мягкими вещами гостиных тусклыми, как бы подземными звуками. В угловом кабинете сухо каплял и поцелкивал на счетах хозяин — толстяк с отвислой нижней челюстью. Даже звон кухонной посуды доходил из подвала измененным до неузнаваемости, — скорей всего это возок с дребеденью не спеша проезжал мимо по мягким пыльным улицам.

Вечерами, если хозяева уходили в гости, Василий оставался один. Прислуга окончательно забиралась в глубину своих скудных, по сравнению с барским простором дома, подвальных комнатенок. Темный от мис-

жества навешанных на окна богатых тряпок дом погружался в темноту. Угловой уличный фонарь находил в этом бархатном мраке только фарфор на стенах, полированную поверхность рояля или стекло. Тусклые, как бы подводные, звезды серебрились там и тут, и Василий, не смея зажечь свет, боясь разбить какую-нибудь ценную безделушку, ходил сомнамбулой из комнаты в комнату. Вслед за ним, мерцая зеленовато-золотыми глазами, двигался любимый хозяйский кот Паша.

Все обитатели дома уделяли очень мало внимания друг другу. Это был стиль хозяйки, печатавшей на карточках рядом с плебейской фамилией мужа — урожденная фен Ревениц... Даже прислуга старалась делать свое дело незаметно и бесшумно.

В сущности, здесь можно было жить легко и беззаботно.

Но Васька не чувствовал ни легкости, ни беззаботности.

Впервые в жизни ему пришлось рассчитывать каждый свой шаг, каждое движение, каждое слово, и притом рассчитывать не на свой лад, а на чей-то чужой, только смутно ощущаемый, но ненарушимый порядок.

Было мучительно соображать, зачем у его прибора столько разнообразных вилок, ложек и ложечек. Нужно было ждать и высматривать, как и чем будет есть хозяйка. Хозяин пренебрегал всем этим ритуалом и примером служить не мог. Нельзя было обратиться за помощью и к Женьке. Когда впервые подали бульон в чашках, и Васька, решив, что это что-то вроде чая, бросил туда сахар, — Женька ржал в течение всего обеда и едва не довел Василия до слез.

Хозяйка делала все, чтобы облегчить Ваське вступление в мир высшей цивилизации. Она весело, как бы между делом, сообщала ему, что для чего предназначено, давала предусмотрительные, ловко и вскользь по-

ставленные советы, но и это тяготило самолюбивого мальчишка. Раздражало и то невольное и, разумеется, незаслуженное уважение и зависть, которые внушал ему Женька, державший себя в этом сложном мире с непринужденностью уличного задираки.

В этом доме пришлось Василию пережить свои первые мысли о революции. И хозяин и хозяйка были либерально настроены. За столом говорили о конституции, о Думе, спорили, какой парламентаризм лучше — английский или германский. Когда же в декабре вспыхнуло восстание в Москве, и стали железные дороги, хозяин, явно встревоженный, заявил, не отрываясь от газеты, что к революции примазалось слишком много темных элементов, и это начинает уже угрожать и простым мирным гражданам.

— Есть мудрецы, которые считают, — бурчал он, — что если у меня две пары штанов, а у какого-нибудь пьяницы ни одной, то я должен отдать ему свои... Социализм — это значит, что я должен переехать в дворницкую, а сюда посадить орду сиволапых. Благодарю покорно!

Василий по-деревенски хорошо понимал, что такое ненависть бедного к богатому. Малую толику своей бедняцкой ненависти он принес в город. Была она, как две травинки, похожа на мысли Марии Александровны. В городе ненависть эта вспыхнула костром, в который подбросили дровишек и Рулев, и Козявка, и Черный.

Но ведь теперь Васька победил. Город принял его в свой лучший дом, где едят на серебре и на стенах висят дорогие картины.

Теперь Васька и сам не пустил бы «сиволапых» в эти вспрыснутые одеколоном и сосновой водой комнаты. У него в глубине души затаилась надежда остаться навсегда в квартирах с коврами, с горничными в плюсовых передниках. Гимназия, политехникум... инженер. Разве это не большая дорога?!

Хозяйка, Луиза Матвеевна, сама рассказывала ему о том, как выбиваются в люди способные, умные бедняки, получившие образование. Знание и даже богатство нисколько не мешают революционности! Все образованные люди за революцию...

И Васька еще больше начинал ненавидеть российские порядки, полицейских, Карпова и Козявку, погромщиков, директора и даже... царя!

Но дом Кернов надо оставить таким же нарядным и уютным, и инженеры должны быть богатыми, ездить за границу и иметь свои выезды... Старик Керн прав. Революция может быть и без социализма. Ваське становилось стыдно, что он произносит слово социализм без достаточного понимания, но это было ненадолго. некогда было размышлять, — нужно было заниматься с Женькой, готовиться самому, изучать английский язык по самоучителю.

Однажды Васька вышел к столу, в купленном за пятак бумажном воротничке. Это уже был путь самостоятельности. Все громко похвалили Василия. Но вечером мадам Керн, начав издали, подробными расчетами доказала Ваське, что бумажные воротнички и неприятны, и непрактичны, так как при частой смене обходятся дороже полотняных, которые легко найти в магазине Пейсика.

Васька вышвырнул бумажный воротник в мусорную яму. Три дня колебался и все же купил пару полотняных. По примеру Женьки он стал щеткой чистить ногти, ровнять пробор перед зеркалом и, наконец, заказал себе фуражку с накладными толстыми кантами, какие носили только гимназические щеголи.

Было бабье лето. Длинные паутины носились в воздухе, и в предосенней свежести дышалось легко; ка-

ждый вздох приносил новую струю бодрости. На улице было пустынно, и Андрей шел в гимназию, напевая какую-то маршевую арию.

Против дома Салтанов, у старой акации, на ковре опавших листьев, Андрей заметил сверток. Деревенский платок в крапинках, завязанный двойным узлом, скрывал в себе не то тарелку со снадью, не то небольшую кастрюльку.

Андрей находу толкнул сверток ногой. Сверток перевалился на-бок. Звякнуло металлом. Секунду Андрей колебался: посмотреть или нет? Иногда мальчишки нарочно оставляют на дорогах завернутыми в платочек всякие гадости, а потом ржут вволю из-за забора над любопытным.

Но, прежде чем он дошел до угла, позади раздался оглушительный, как удар грома, взрыв.

Задребезжали стекла, кто-то громко крикнул...

Облачко дыма стояло над тем местом, где лежал сверток. Открывались двери и окна, хлопали калитки, любопытные спешили на улицу узнать причину взрыва. От Салтановского дома, придерживая пашку, бежал, немилосердно пыля, исправничий холуй, городской Гончаренко.

В толпе Андрей узнал, что сверток, который он так легкомысленно пихнул ногой, таил в себе бомбу.

Бомба, по совести говоря, была дрянная. Ее осколки, гвозди, клочки металла, которыми она была начинена, только исчертили кору дерева, исполосовали, исцарапали желтую стену маленького сарайчика. Но взрыв был громкий, и стекла пострадали во всех ближайших домах и в большой еврейской синагоге.

Вскоре на место прибыли власти и участковый следователь. Но, кроме клочков платка, не было никаких следов от бомбы. Никакого смысла взрывать бомбу в этом месте, на пустой улице, не было. Никаких да-

ных, которые помогли бы найти виновников взрыва, не оказалось.

Тем не менее одни горячо утверждали, что бомбу подложили красные, так как напротив жил исправник, другие доказывали, что бомба — дело рук черносотенцев, и потому подложена была против главной синагоги.

Андрей рассказал следователю, как он шел, увидел сверток, пихнул его ногой, а потом услышал за спиною взрыв.

Больше для того, чтобы похвастаться перед товарищами, он просил следователя дать ему записку о причине задержки и опоздания на урок. Следователь, смеясь и кусая рыжий ус, написал на облучке извозчичьей брички такую записку.

Андрей оказался в гимназии героем дня.

Ливанов, когда первый взрыв товарищеского любопытства прошел, отозвал Андрея в сторону и спросил: — А что, если это Миша Гайсинский?

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Сколько шума было бы из-за такого взрыва в старые, спокойные годы! Бомба у дома исправника! Землетрясение, конец мира! Старушечьи беззубые рты прошамкали бы пришествие антихриста.

Но шел тысяча девятьсот пятый. Вздыбленный, непричесанный год! Плохая бомба неумелых пиротехников была оценена по достоинству. О ней забыли на второй день.

На той же неделе на Старом базаре раскрыли квартиру, где изготовляли бомбы для вывоза в глубь России. На берегу Днепра террористы готовились пересчитать кости какого-то сановника в Приволжьи.

Под фундаментом ровной, долгое время слишком спокойной российской жизни сложным подкопом пошла какая-то иная жизнь. Она была здесь рядом, она глядела из горячих глаз девушек со стриженными волосами, из-под студенческой фуражки со сломанным козырьком, в полный голос гремела там, где собирались рабочие косоворотки, — на лугах, в левадах, в подвалах и нежилых квартирах.

Большие города, фабричные центры сотрясал топот привыкавших к строю рабочих рядов. Свистом казацких нагаек, артиллерийским огнем проносилась по гулким площадям еще не свергнутая, но потрясенная власть.

Но насквозь мещанский, грабарский, купеческий Горбатов крепче других городов держался старых тради-

ций. Рабочих было мало, торговцев, подрядчиков, чиновников — много, и весеннее буйство молодых человеческих отрядов не могло слиться в бушующую стихию, которая влечет за собой ряды и толпы, единицы и массы.

Не удалась всеобщая, в уездном масштабе, забастовка. Стоял сахарный — работал гвоздильный. Стал гвоздильный — заработал кожевенный. Пять лесопилен бастуют — пятнадцать визжат на весь Низ пиламинцентралками. Не удается таинственным бородатым людям с говорком на «о», с одесскими словечками сколотить, спаять расхлябанную армию полесских лапотников-плотовщиков.

В Первой министерской идут слухи: киевские гимназии бастуют, уманцы выгнали директора, белоцерковцы идут на улицы. В одесских гимназиях — восстание. Но горбатовская министерская ни на час не закрыла своих дверей даже в дни великих московских боев. Только восьмой класс весь декабрь стоял на запоре.

А когда стало ясно, что на московских баррикадах победителями остались семеновцы и казаки, а не революционная Россия, когда Питер, рабочий Питер, вздрогнул, но не поднялся одновременно с Москвой, директор уверенным голосом прочел на молитве постановления педагогического совета о роспуске восьмого класса и о том, что после рождественских каникул особая отборочная комиссия будет допускать бывших восьмиклассников к выпускным экзаменам.

Ясно было, что главарям гимназической революции не видать казенной школы и аттестата, как своих ушей.

Зато, вместо одного традиционного раза в год, танцы в гимназии устраивались каждый месяц. Готовились к вечерам долго и энергично. Украшали стены привезенными из леса молодыми елками, мастерили сусальные ленты, похожие на кандалы, разучивали песни,

декламировали Апухтина и Надсона, музицировали. Духовой оркестр обзавелся новыми инструментами, организовался струнный, и молодежь безудержно принялась флиртовать и водить котильоны. Говорили о живописи, музыке, поэзии...

Директор зевсоподобно рокотал на уроках латыни, ходил опять по-генеральски и едва заметными кивками головы отвечал на почтительные приветствия учащихся.

Педея забегали по квартирам, а у классных учителей опять завелись забытые было кондуиты.

В гимназии начались перемены.

Еще в августе уехал из гимназии Водовоз. Он получил назначение директором одной из гимназий в Царстве Польском. Ваулин, преподаватель естествознания, сочувствовавший союзу русского народа, получил назначение в одну из киевских гимназий. Наконец, Горянский — математик, равнодушный ко всему в мире, кроме женщин, писавший на уроках доказательства теорем по записной книжке, — к Рождеству был назначен инспектором гимназии в одном из городов на австрийской границе.

В январе пронесся слух, что в округе считают гимназию образцовой. Она стойко выдержала искушения революционного года, и теперь директор получит орден, а педагоги также не будут забыты начальством.

Еще до отъезда Водовоза приехал новый инспектор, маленький курчавый человечек с лицом обезьяны и кривыми ногами. Он попал в инспектора гимназии из преподавателей кадетского корпуса.

— Это не просто! Введет кадетскую муштру! — говорили гимназисты.

Свою инспекторскую деятельность Леонид Александрович Карпов начал с волос, ногтей, костюмов и мундирных подкладок. Ногти должны были быть острижены

до корней, волосы — под барабан, костюмы — только серые, отнюдь не щегольская черная диагональ, а белые франтовские подкладки были сняты по специальному приказу в двадцать четыре часа.

Началась глухая борьба между инспектором и старшекласниками.

Каждый день утром на молитве Карпов читал нотации всей гимназии, зло высмеивая то тех, то других некорных.

Карпов шепелявил, вместо «с» говорил «ш», не свинец, а «швинец», не сапоги, а «шапоги», размахивал побезьяньи длинными руками и гримасничал смятым, безволосым личиком. Гимназисты потешались над новым инспектором. На молитвах задние ряды недовольно рокотали, и гул шел по залу, когда инспектор особенно круто заворачивал в своих стремлениях навязать гимназической вольнице однообразие военных рядов.

— К чему свелась наша революция? — иронически качал головой Ливанов. — Волосы — на сантиметр длиннее или короче. Тут и революция, тут и контрреволюция!

— Да, — размышлял вслух Андрей. — Хоть бери да вальс учись танцовать. Хореография процветает!

Новый инспектор занял со своим многочисленным семейством дом у гимназической церкви, который до него занимали семьи трех педагогов. Старший сын его кончил юнкерское. Младший был переведен из кадетского корпуса в гимназию. Две красавицы-дочери стали центром внимания всего города.

С тремя мушкетерами «Швинец», как прозвали Карпова, сразу стал в неприязненные отношения.

Это было еще в августе. Швинец был страстный охотник. В субботу после вечерни он отправлялся на полтавский берег с двустволкой и возвращался домой только утром в понедельник. Но однажды он порезал

ногу осокой и решил вернуться домой. Спускаясь по Днепру, он заметил на золотистой отмели купающихся. Под кустами лоз лежало форменное платье, и большие серебряные пуговицы светились на солнце, как осколки разбитого зеркала.

«Гимназисты!» — сообразил Швинец и направил лодку к берегу.

— Здравствуйте, Леонид Александрович! — весело приветствовал его Андрей. — Как хорошо купаться! — И он перекувырнулся в воде, показав розовые мальчишьи пятки.

— Здравствуйте, Леонид Александрович! — хором закричали из воды Ливанов, Ашанин и Тымин.

Солнце бросало косые вечерние лучи. Вода была как зеркало. Молодые голоса звучали приветливо и звонко, к тому же был воскресный день. Швинец решил повести себя либерально.

— Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Купаетесь?

— Купаемся! — закричали гимназисты и стали нырять гзапуски.

Швинец подъехал к берегу, выпрыгнул на песок, совсем не начальственным жестом расправился и, глядя в небо, изрек:

— А, пожалуй, и я искупаюсь!

— Вода еще теплая, Леонид Александрович! — кричали ребята. — Нырять будем!

— Нырять?! Едва ли кто-нибудь из вас со мной поспорит. . .

Тымиш что-то шепнул Андрею.

— А вот у нас Тымиш — чемпион. Он, как сом с большим усом, — не ныряет, а живет в воде.

Швинец разделся, быстро пробежал по песку и сразу бросился в воду. Тело у него было жилистое, смуглое, волосатое. Казалось, кувыркается в воде большая обезьяна. Нырять он прекрасно, далеко заплывая под водой.

Гимназисты смотрели с удивлением, как легко и свободно чувствует себя в воде всегда чопорный и натянутый педагог.

— Дивись, на Днипри людына, як людына, а у класси, як пез, — сказал Тымиш.

Швинец вынырнул, фыркнул и предложил:

— Ну, что ж, Тымиш, нырнем, кто дольше?

— Костров — арбитр, — предложил Ливанов.

Андрей вылез на берег, вынул часы и скомандовал:

— Раз, два, три!

Швинец и Тымиш нырнули одновременно. Не успела вода успокоиться на месте, где скрылись состязающиеся, как красная, прыщавая физиономия Тымиша с лукавым видом показалась над поверхностью. Он задыхался от смеха и крепко зажимал пальцами конец носа. Как только вода над Швинцом заколыхалась, Тымиш опять сел на дно.

Швинец, просидевший под водой добрых полторы минуты, с изумлением осматривался кругом, не видя соперника. Прошло десять-пятнадцать секунд — тогда показался и Тымиш. Он делал вид, что задыхается и безумно устал.

— Ну и ну! — сказал Швинец.

— Д-да! — поддержал его, едва скрывая улыбку, Андрей.

Ашанин и Ливанов предпочли нырнуть в воду, чтобы не выдать товарища смехом.

— Ну, еще! — предложил Швинец.

— Реванш? — без должного уважения произнес Тымиш.

— Ну, что ж, реванш, — совсем серьезно ответил Швинец.

Повторилась та же история. На этот раз Тымиш вторично нырнул заблаговременно и терпеливо просидел под водой около минуты.

Швинец от изумления даже подошел к тому месту, где нырнул Тымиш, и посмотрел под воду — там ли он?

Андрей лежал на берегу, зарывшись лицом в песок, и только колени его ходили.

— Ой, не могу! — раздался вдруг крик и дикий хохот из воды. Это Ливанов бежал к берегу, весь дрожа от дикого, потрясающего смеха.

Ашанин смеялся мелким, захлебывающимся хохотком, спрятавшись за лодку.

Тогда не выдержал и Андрей. Он вскочил и побежал в кусты. Из воды и из кустов и из-за лодки несся теперь дружный смех ребят.

Швинец стоял по пояс в воде, смотрел то на Тымиша, то на Ашанина и недоумевал. Было ясно — смеются над ним. Он осмотрел свое волосатое тело. Может быть, оно ему показалось некрасивым... Он пошел на берег, быстро оделся и уехал.

Друзья продолжали хохотать до боли в затылке, разбежавшись в разные стороны для того, чтобы не подзадоривать друг друга.

Один Тымиш хранил спокойный и довольный вид победителя.

Став инспектором, Швинец всегда в первую очередь обрушивался на Тымиша и мушкетеров, никогда не верил их оправданиям и наказания назначал самые строгие и часто несправедливые.

Однажды Ливанов шепнул Андрею на уроке французского, что отец его неожиданно получил от архиерея золотой наперсный крест.

— Ужели неожиданно, друже? — скептически осклабился Андрей. — Может, уже давно гадалось?

— Андрюшка, ты словно хочешь попрекнуть меня отцовскими подвигами, — с горечью сказал Ливанов. — Это ты напрасно!

— Да нет, не прячься в бутылку. Это я так... от злости.

— Да, тоскливо как-то. Может быть это оттого, что мы с тобой как не смыслили ничего, так и не смыслим. И

это, наверное, оттого, что мы в революции были только фантазией заинтересованы. Я вот до сих пор не могу сообразить, что лучше — бомбами или брошюрами.

— Вот, брат, если бы повидать Мишку Гайсинского теперь. Вот как заговорят о бомбах, так мне и кажется, что Мишка к этому делу причастен. Я вот почему-то уверен, что он объявится.

— Мосье, дит муа, — подлетел к ним француз. — Ком-бьен де фрер аве ву?

И Андрею пришлось начать устный экзерцис с педагогом.

Новый француз, сменивший Форне, был чистокровным ярославцем. Маленький, встрепанный, с гнилыми зубами и глазами мученика. Он разрешал на своих уроках делать все, что угодно. Но сам с нечеловеческой энергией и настойчивостью работал над каждым учеником в отдельности, заставляя гимназистов постигнуть тайну неправильных глаголов. Гимназисты сначала смеялись над чудаковатым, юрким человеком, но вынуждены были признать его настойчивость, и успехи во французском языке оказались поразительными.

Француз не скрывал своих настроений. Даже в классе он охотно вступал в беседы на политические темы. Но еще откровеннее он высказывался дома.

Гимназисты зачастили в маленький домик о трех комнатах на одной из приднепровских улиц. Здесь улыбалась им навстречу худая, чахоточная женщина с папирсой во рту и с такими же, как у мужа, желтыми зубами. Француз ставил на стол жестяную коробку с печеньем, предлагал чай, и разговор затягивался до позднего вечера. В беседах француз не ссылался на книги, не цитировал ни Маркса, ни Чернышевского, говорил больше от себя, принимая революцию больше нутром, чем сознанием.

Наступил тысяча девятьсот шестой год. Но француз

не изменил поведения. Словно его не касались приказы господина директора, словно он и не заметил всех перемен, которые принесли приднепровскому городку и гимназии зимние месяцы бурного года.

Но однажды француз не пришел после звонка на урок в пятый класс. Прошло пять, десять, пятнадцать минут, а француз нет как нет. Это было удивительно! Ярославский француз был американцем по аккуратности.

Шестиклассники выскакивали в коридор. Барсуков добежал даже до сторожа Якова, но сейчас же метнулся обратно, так как Яков многозначительно указал пальцем на директорскую дверь.

Сообразительный юноша влетел в класс, вскочил на кафедру и шопотом — так, что можно было его услышать в конце коридора, — прохрипел:

— Ребята, француз у Селедки!

Уже прошло полурока, когда француз вошел в класс. Он прикладывал к губам большой смятый платок. Он положил на кафедру, не раскрывая, классный журнал, подошел к первой парте, на которой сидели Ашанин и Тымиш, ничего не сказал и опять отошел к окну.

В классе царил тишина, более глубокая, чем на уроках директора. Дробными, звонкими шажками пробежал француз от окна к доске, затем опять к Ашанину, к окну и к кафедре. Схватил журнал, опять приложил платок к губам и помчался к выходу.

У дверей остановился и бросил в класс, ни на кого не глядя:

— Простите, господа, невысказанно разболелась голова... Придется пойти домой.

И убежал.

Вечером к гимназистам, которые позвонили у подъезда маленького домика, вышла прислуга и сказала, не дожидаясь вопроса:

— Барин спят. Они нездоровы. — И быстро-быстро хлопнула дверь.

На другой день француз был при исполнении служебных обязанностей. Но разговоры кончились. Кончились навсегда... Остались экзерцисы, неправильные глаголы, сюбжонктивы...

Сложными, кривыми путями прошел слух...

Селедка накрутил хвост французу. За французом уже и без того водились грехи, а теперь ему было предложено: либо он резко изменит свое поведение, прекратит разговоры на политические темы, прекратит гимназические чаи у себя дома, либо ему будет предложено подать в отставку, и двери правительственной школы закроются для него навсегда. А у француз — сын и дочь. Оба — в правительственных гимназиях...

— Ну, вот и все ясно, как шоколад, — с претензией на остроумие заканчивали осведомленные люди.

Скоро, скоро холод зимний  
Рощу, поже посетит... —

патетически продекламировал Андрей.

— Уже посетил! — перебил его Ливанов. — И никаких огоньков...

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

— Андрей, смотри. Да тут целый пир. Вот здорово! Боюсь, как бы не кончилось дело *oleum piscini*!

В классную дверь опять заглянула непричесанная голова сторожа Якова.

— Еще вам, держите!

Сверток в синей бумаге перешел в руки Ливанова.

— Словно сговорились. Там ветчина, сосиски, котлеты, а здесь виноград, груши, яблоки. Нехватает только бутылки токая! Кто это старается?!

Котельников не принимал участия в торжестве. Он сидел с ногами на широком классном окне и смотрел на городской сквер. По безлистым, укрытым февральским снегом аллеям бродили одинокие фигуры любителей зимних прогулок.

Днепр лежал внизу белой дороги, словно кто-то щедро развернул широкую штуку серебристого полотна. Солнце садилось на крышу тюрьмы. Серой щетиной стояли по обочинам сквера оголенные кусты. Часовой застыл на месте, и штык его на фоне белой стены казался таким же высохшим сучком, с которого опали лапчатые летние листья.

— Васья, иди лопать! Тут на три обеда хватит! — приглашал Андрей.

Василий продолжал смотреть в окно.

— Я не голоден. Не знаю, к чему такая демонстрация!

— Ну, пошел философствовать, — махнул рукой Лива-

нов. — Что тут непонятного? Мог весь класс сидеть, а сидим только мы трое. Ну, вот нам и принесли доказательства товарищеской признательности.

Василий пожал плечами и не ответил товарищам.

— Не хочешь — ну и чорт с тобой! Нажмем, Андрей! — И товарищи принялись уплетать принесенную еду.

Ваську разбирала досада.

Разве это называется держать себя в руках?! Выско-чил он в классе с признанием наперекор всем новым мыслям. Тут же спохватился — ведь этак можно полу-чить документы, лишиться урока, но было поздно. Андрей, Ливанов и это угощение, — все это было ни к чему.

Когда первый аппетит прошел, Ливанов растянулся на парте. Он бросал виноградинки кверху и ловил их ртом. Ягоды большею частью падали на пол и катились в разные стороны. Ливанов смеялся, как распалившийся ребенок.

— Что дурака валяешь? — зло сказал Котельников. — Нажрался, так отдай остальное Якову!

— Это я, должно быть, поглупел от скуки, — сознался Ливанов. — Наглядное доказательство пользы, которую приносят гимназические меры наказания.

— Ну и дурак! — на этот раз мягче сказал Василий. Он подошел к парте и взял бутерброд.

— Ты, Васька, что, собственно, дуешься? — спросил Андрей. — Не понимаю. . .

— Я не понимаю, за каким чортом нужно было садиться троим. Я встал именно для того, чтобы отсидеть одному. . .

— Все за каждого, каждый за всех! — поднял кверху палец Ливанов. — А кроме того тебе одному не пове-рили бы.

Шесть часов без обеда мушкетеры заработали совер-шенно неожиданно. В шестом классе каждые две недели

писали классное сочинение по русскому языку. В одну из пятниц преподаватель-словесник неожиданно преподнес шестиклассникам тему «О любви к отечеству и народной гордости». Тема не понравилась. Гимназисты вели себя шумно и написали сочинение из рук вон плохо. Провалились и патриоты и признанные «беллетристы» класса, все, как один, принадлежавшие к либеральному лагерю. Преподаватель решил, что это демонстрация, и заявил, что в следующую пятницу сочинение будет повторено на ту же тему.

В следующую пятницу никто не принес в класс тетрадей.

Преподаватель вызвал инспектора.

Швинец рассвирепел немедленно. Он брызгал слюной, кричал о падении дисциплины и заявил, что стоит на своем, и класс будет писать сочинение. Он лично принес из учительской комнаты пачку линованой бумаги и роздал ее ученикам.

Пришлось писать сочинение вторично на ту же тему.

Когда сочинение было написано, Швинец заявил, что он оставляет весь класс без обеда на три часа. Но если класс выдаст тех, кто явился подстрекателями, то он согласен простить класс и накажет только вожаков.

— Ну-с, так как же? — закончил он свое предложение. — Называйте фамилии.

Класс упорно молчал. Преподаватель отошел к окну и смотрел на серое зимнее небо, словно его не касалось все, что происходит в классе.

Швинец оперся руками на переднюю парту и обходил бегалочными, пронзительными глазками весь класс. — Что ж, молчите? У самих виновников, вижу, смелости признаться нет. Придется вам дать срок. — Он вынул часы. — Вот три минуты срока. После этого я уже разговаривать с вами не буду... Имейте только в виду, что обо всем этом будет доложено господину директору.

Такое обещание сулило шестиклассникам новые ре-  
прессии.

Класс молчал. Никто не глядел друг на друга. Три-  
дцать пять гимназистов усиленно рассматривали верх-  
ние доски парт с хорошо знакомыми надписями, рисун-  
ками и резьбой.

— Две минуты! — вызывающе произнес Швинец.

— Я предложил классу не брать тетрадей, — раздался  
громкий голос.

Тридцать пять голов, как по команде, повернулись  
в сторону Котельникова. По классу пошел глухой шум.  
Все взволнованно шептали что-то друг другу.

— И я!

— И я!

— Так, так! — язвительно прошипел Швинец. — Так и  
надо было ожидать, господа Аяксы. Правда, вас трое,  
но это ничего!

— Они не Аяксы, а мушкетеры, — бросил кто-то с кам-  
чатки.

— Ну, все равно, Аяксы или мушкетеры, но по шести  
часов без обеда все трое получают. Извольте остаться  
сегодня же.

Сумерки заползли в класс. Высокие белые стены  
и ослепительно чистый потолок посерели. В запертую  
классную дверь глядела ночь коридора.

— Время как тянется, — посмотрел Ливанов на часы.

— Это только для безобедников, а вообще я тебе скажу,  
время летит! — отозвался из другого угла класса  
Андрей.

— Что привело тебя к столь глубокомысленному вы-  
воду? — спросил Ливанов.

— О, знаешь, я сейчас занят важным делом. Я подвожу  
итоги.

Ливанов подошел к Андрею.

— Андрюшка, представь, и я занимался этим делом два

дня назад. Мои итоги так же поразили меня, как гром. Какой год! Какой год!

Перед Андреем лежал «Товарищ на 1905/6 год».

На первой странице упорный издатель, не считаясь с духом времени, предлагал все те же, что и в прошлом году, вопросы. Окрепшим почерком Андрей в сумерках выводил свои ответы.

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. <i>Имя, отчество и фамилия</i> . . . . .                    | Андрей Мартынович Костров.        |
| 2. <i>Возраст</i> . . . . .                                    | 15 лет 5 месяцев.                 |
| 3. <i>Рост</i> . . . . .                                       | 159 сантиметров.                  |
| 4. <i>Любимое занятие</i> . . . . .                            | Читать.                           |
| 5. <i>Любимый герой всеобщей истории</i> . .                   | Спартак.                          |
| 6. <i>Любимый герой русской истории</i> . .                    | Декабристы.                       |
| 7. <i>Любимый писатель (поэт)</i> . . . . .                    | Некрасов.                         |
| 8. <i>Любимое произведение</i> . . . . .                       | «Война и мир».                    |
| 9. <i>Любимый предмет</i> . . . . .                            | История.                          |
| 10. <i>Любимый цветок</i> . . . . .                            | Глупый вопрос.                    |
| 11. <i>Любимый преподаватель</i> . . . . .                     | Нет.                              |
| 12. <i>Любимый товарищ</i> . . . . .                           | Костя Ливанов и Вася Котельников. |
| 13. <i>О каком высшем учебном заведении мечтаете</i> . . . . . | Все-таки еще не знаю.             |

— Интересно, — сказал Ливанов. — Теперь смотри мою. — Он вынул из кармана новенький «Товарищ».

- |  |  |
|--|--|
| 1. <i>Имя, отчество и фамилия</i> . . . . .                    | Константин Давыдович Ливанов.                |
| 2. <i>Возраст</i> . . . . .                                    | 15 лет и 4 месяца.                           |
| 3. <i>Рост</i> . . . . .                                       | 159 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> сантиметров. |
| 4. <i>Любимое занятие</i> . . . . .                            | Читать.                                      |
| 5. <i>Любимый герой всеобщей истории</i> . .                   | Дантон.                                      |
| 6. <i>Любимый герой русской истории</i> . .                    | Бакунин.                                     |
| 7. <i>Любимый писатель (поэт)</i> . . . . .                    | Чернышевский.                                |
| 8. <i>Любимое произведение</i> . . . . .                       | «Что делать».                                |
| 9. <i>Любимый предмет</i> . . . . .                            | История и русский язык.                      |
| 10. <i>Любимый цветок</i> . . . . .                            | Гвоздика (французская революция).            |
| 11. <i>Любимый преподаватель</i> . . . . .                     | Марушук.                                     |
| 12. <i>Любимый товарищ</i> . . . . .                           | Андрюша Костров и Вася Котельников.          |
| 13. <i>О каком высшем учебном заведении мечтаете</i> . . . . . | Филологический факультет.                    |

— Так, так — как говорит Швинец. Вот, Костя, за один год все наши детские увлечения испарились. Все течет, все меняется.

— Я думаю, теперь пойдет еще быстрее изменяться.

— А я вам скажу, ребята, — отозвался Котельников, — пока вы отвечаете на дурацкие вопросы в «Товарище» — ничего по существу не меняется. Одна романтика. Не знаете вы толком, что вам, собственно, в жизни надо делать.

— А ты знаешь? — огрызнулся Ливанов.

— И я не знаю, — спокойно сказал Василий. — А может быть и знаю... — И он замолчал.

Сумерки окончательно завоевали весь полупустой куб шестого класса. В окна заглянули звезды.

Когда сторож Яков открыл дверь, в коридоре приходилось идти ощупью.

Морозный воздух охватил гимназистов, прошел по молодым телам струею бодрой и пьяной.

— Пойдем ко мне. Скажем, что занимались вместе, — предложил Андрей.

— А что я своим скажу?

— А от меня пойдем к тебе. Сегодня бродить разрешается сколько угодно. Поймают — скажем усердно отбывали наказание...

— Где шлялся? — буркнул старик Костров. — Что вы ночью бродите? — И потом другим тоном. — Там тебя ждут, ступай поговори, а потом скажи мне, в чем дело...

— Кто ждет? — удивился Андрей.

— Ну, иди, иди! — оборвал его отец.

В комнате Андрея с книжкой в руках сидел Миша Гайсинский. На нем была какая-то серая рубаха без светлых пуговиц. Он не улыбнулся навстречу друзьям и не протянул руки.

— Здравствуйте! — сказал он,

— Миша, здравствуй! — бросились к нему товарищи. Жали ему руки, хлопали по плечу.

— Ты откуда?

— Где ты пропадал?

— Что с тобою? Почему ты не в форме?

— Разве можно на все сразу ответить? — устало наклонил голову Миша. — Где я только не был!

— А сейчас ты куда? Где ты живешь?

— Вот этого я и сам не знаю... Я, собственно, и сам не понимаю, зачем я пришел сюда, в этот город. Я хотел было пойти к Монастырским, но за их домом следят. Яша уже был арестован... Я пришел просить тебя, Андрей, зайти к дяде и узнать у него, могу ли я к ним прийти. Я жду тебя уже несколько часов.

— Да нас, знаешь, посадили без обеда и, как видишь, плотно.

— Что же, все воюете? — снисходительно улыбнулся Миша.

— Ну, какая у нас война? Вот ты, я думаю, пережил за это время.

— Да, конечно. После погрома я хотел было поджечь усадьбу Савицкого, но крестьяне раньше меня пустили этому барину красного петуха, а меня поймали у усадьбы... с коробкой спичек в руках. Если бы я не был так молод, меня бы повесили, а так не знали, что со мной делать. Гоняли меня по тюрьмам, по пересыльным пунктам. А потом я убежал...

— Вот это так приключение!

— Но эти приключения, — сказал Миша, — уверяю вас, совсем не похожи на приключения трех мушкетеров.

— Мы читали твою записку у Яши.

— Глупая записка! По тюрьмам и по участкам я много думал и много встретил людей. Это все люди тысяча девятьсот пятого года. Дело, конечно, не в бомбах. Теперь я уже не написал бы такой записки.

— Андрей! — послышалось из другой комнаты. — Это кто? — спросил Костров, нахмутив брови.

— Это гимназист... бывший... Миша Гайсинский.

— А почему он не в форме?

— Видишь ли... Он сейчас не в гимназии... и даже, надо сказать больше...

— Понял я, понял! — поднялся во весь рост старый чиновник. И шопотом: — А зачем сюда шляется? Почему именно к тебе пришел? Какие дела?

— Но не могу же я его выгнать. Ему некуда идти.

— Мне нет никакого дела. В моем доме я не допущу подобных явлений. Я кое-что слышал. Я не хочу разбираться в этом деле. Но твой... бывший... товарищ мог бы постесняться приходить в дом видного судейского чиновника. Он компрометирует меня! Понимаешь?

— Папа, но нужно же стоять выше этого.

— Не смеешь учить меня, щенок! — Теперь он не сдерживал своего зычного голоса. — Я требую, чтобы ты сейчас же объяснил своему товарищу положение вещей. Понял? Марш!

Андрей повернулся. На пороге уже стоял бледный, с пылающими глазами Миша.

— Я слышал, я понял. Я прошу вас простить меня. Я больше никогда не приду в дом видного судейского чиновника...

— Куда ты, Миша? Куда же ты пойдешь?

— Не все ли равно, — бросил Миша и, не прощаясь, зашагал к двери.

Андрей схватил фуражку, набросил пальто и помчался вслед за Мишей на улицу. За ним последовали Котельников и Ливанов.

— Мишка, постой! Куда же ты пойдешь? Сейчас к Монастырским нельзя. Час ночи! Нужно всех будить. Ясно, что обратят внимание. Надо же тебе куда-нибудь деваться.

— Но куда? — развел руками Костя. — Ко мне, увы, ничего не выйдет. Васька — у чужих. Товарищей таких у нас нет, чтобы можно было положиться. У Ашанина — мама. . . У Бельского отец — сыч-сычом.

— Слушай, а что, если к Марущуку? Независимый человек. Ведь такой исключительный случай — и близко. Неужели он откажет?

— Миша, как ты думаешь?

— Делайте, как хотите, — махнул рукой Миша. — Я так устал, так хочу спать, что готов опять итти в участок. . .

Робкой рукой нажал кнопку звонка Андрей. Дверь открылась не скоро.

Со свечой в руке показался на пороге Марущук в ночном халате и стоптанных туфлях.

— Это вы, господа? В чем дело? — В его голосе звучало нескрываемое изумление.

Гимназисты звонят в час ночи в квартиру семейного преподавателя.

Даже землетрясение не оправдало бы подобного нарушения приличий.

Со свечой и в туфлях в порядочных семьях встречают почтальона, несущего срочную депешу близкого родственника, у которого смертельно заболела мать. Словом, для того, чтобы поднять с постели надворного советника, преподавателя министерской гимназии, нужны события огромной важности.

— Простите! — смущенно прошептал Андрей. — Исключительный случай!.. Вот Миша Гайсинский. — И он выдвинул вперед не менее смущенного Мишу.

— Гайсинский?! . Откуда вы? . .

— Он все вам расскажет, — перебил Ливанов. — Ему нужно только переночевать где-нибудь. Он завтра пойдет к родственникам. Ему некуда деваться. . . А сейчас на дворе мороз,

— Так, так! — начал понимать Марущук. — Но у меня негде устроить вашего товарища.

— Но разве это так важно? .. где-нибудь на диване, на полу, — настойчиво волновался Ливанов. — Только до утра!

Марущук крикнул, снял пальцем нагар со свечи и демонстративно взялся за ручку двери.

— Не понимаю вашей настойчивости, господа! Неужели вам непонятно, что именно мне менее всего подобает сей час прятать у себя... ну, давать приют... ну... словом, вашему товарищу? Прошу простить меня... Второй час, все уже спят. Надо быть более чуткими, господа! — сказал он с иронией и захлопнул дверь.

Гимназисты застыли в темноте перед запертой дверью, не решаясь идти на улицу.

Миша стоял, прислонившись плечом к стене. Он, видимо, ничего уже не соображал от усталости.

— Я вычеркиваю Марущука из «Товарища»! — заявил Ливанов.

— Рекомендую тебе выбросить «Товарища» со всеми героями и любимыми цветками. И радикальнее и умнее! — посоветовал Котельников.

— Но что у нас за отцы, товарищи?! — вместо ответа воскликнул Ливанов. — Я вижу, все они один другого стоят. Ведь они тоже когда-то были молоды.

— Ты хочешь сказать, что и мы можем стать такими же? — подозрительно спросил Андрей.

— Товарищи, вы идите, а я здесь посижу, на лестнице, иначе я засну на ходу, — сказал Миша. — А кто кем будет, поверьте, это никому неизвестно. В один день может все измениться. Я это знаю по себе.

Он сел на ступеньку и склонил голову на колени.

— Я знаю, что делать, — вдруг затормошил Мишу Андрей. — К Петьке Стеценко. Он спит отдельно... в кладовке, Кладовка теплая, Петька уходит в шесть

на завод, — целый день будешь спать. А сейчас возьмем извозчика...

Миша вздохнул и, ничего не отвечая, пошел к выходу, опираясь на руку гимназиста.

КОНЕЦ.

Москва — Ленинград  
1930 — 1934.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ . . . . .	5
ГЛАВА ВТОРАЯ . . . . .	17
ГЛАВА ТРЕТЬЯ . . . . .	42
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ . . . . .	50
ГЛАВА ПЯТАЯ . . . . .	56
ГЛАВА ШЕСТАЯ . . . . .	65
ГЛАВА СЕДЬМАЯ . . . . .	72
ГЛАВА ВОСЬМАЯ . . . . .	82
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ . . . . .	92
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ . . . . .	103
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ . . . . .	119
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ . . . . .	132
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ . . . . .	142
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ . . . . .	153
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ . . . . .	162
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ . . . . .	167
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ . . . . .	180
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ . . . . .	193
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ . . . . .	203
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ . . . . .	215
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ . . . . .	224
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ . . . . .	234
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ . . . . .	240
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ . . . . .	248
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ . . . . .	258

№ 476

*Отпечатано для Издательства Писателей  
в Ленинграде 2-й тип. «Печатный Двор»  
треста «Полиграфкнига», Ленинград, Гат-  
чинская, 26, в колич. 10600 экз. 12 авт. л.  
Зак. № 1765. Ленгортит № 11857. Переплет  
и супер-обложка по макетам М. Курнарского.  
Сдано в набор 28/III 1954 г. Подписано к пе-  
чати 7/VII 1954 г. Форм. бум. 82 × 110 см.  
Тип. зн. в 1 печ. л. 29952. Бум. л. 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub>. Порядко-  
вый № 69. Ответственный редактор Н. Тихо-  
нов. Технический редактор Ал. Кукурочкина  
1954*

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРОСИТ ЧИ-  
ТАТЕЛЕЙ И БИБЛИОТЕКИ ОТ-  
ЗЫВЫ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ПРИ-  
СЫЛАТЬ ПО АДРЕСУ: ЛЕНИН-  
ГРАД, ВНУТРИ ГОСТИНОГО  
ДВОРА, ПОМЕЩЕНИЕ № 122,  
ИЗДАТЕЛЬСТВУ ПИСА-  
ТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ.

